

Ярослав Золотарев



**Латинская Америка:
путь к свободе**

Ярослав Золотарёв

**Латинская Америка:
путь к свободе**

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Латинская Америка: путь к свободе / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Почему страны, богатые серебром, нефтью и литием, остаются бедными? Кому достаётся рента от недр — и может ли её получить тот, кто живёт на этой земле? Двести лет Латинская Америка ищет ответ. Мексиканская и кубинская революции, Альенде и Пиночет, сандинисты и сапатисты, Чавес, Лула и Эво Моралес, правый реванш Болсонару и Милея — книга проходит этот путь честно: с победами, поражениями и ошибками левых, которые приходили к власти и предавали тех, кто их привёл. Это третий том сибирской областнической серии после «Старой Сибири» и «Коренной Сибири». Латинская Америка здесь — зеркало для Сибири: те же сырьевая рента, уходящая в столицу, коренные народы на чужих месторождениях, споры центра и регионов. Сравнение неожиданно точное — и неудобное. Для тех, кто хочет понять, почему свобода не приходит вместе с независимостью и что могут сделать сами люди внизу.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение	6
0.1. Две серебряные горы	6
0.2. Третий том: зачем выходить за пределы Сибири	8
0.4. Где сравнение хромает	11
0.5. Независимость без деколонизации	13
0.6. Как мы смотрим	15
0.7. Источники и их оптики	17
0.8. Как устроена книга	19
Раздел I. Независимость без деколонизации (1780–1930)	21
Глава 1. Колониальный порядок и его последствия (до 1810)	21
1.2. Касты	22
1.5. Гаити: революция рабов и страх креолов	28
Глава 2. Креольская революция (1810–1826)	30
2.1. Идальго и Морелос: восстание снизу, которое креолы испугались и задавили	30
2.2. Боливар и Сан-Мартин: освободители и их Америка	31
2.3. Индейцы в войне за независимость: на чьей стороне и почему	33
2.4. Указы Боливара об общинных землях: равенство, отнявшее защиту	35
2.5. Рабство после независимости	36
Глава 3. Каудильо и республики без публики (1820–1870)	38
3.1. Распад на двадцать стран	38
3.2. Федералисты против унитариев: первый регионализм и его хозяева	39
3.3. Росас: власть, которая называет себя властью провинций	41
3.4. Парагвай Франции и Лопесов: государство вместо олигархии	42
3.5. Центральноамериканская федерация, которая не состоялась	44
Глава 4. Либералы против общины (1850–1890)	48
4.1. Либералы и консерваторы: о чём был спор	48
4.2. Закон Лердо и Хуарес	50
4.3. Боливия и Перу: распродажа общинных земель при Мельгарехо и после	52
4.4. Колумбийские ресгуардо	54
4.5. Кастовая война на Юкатане (1847–1901)	56
Глава 5. Экспортный бум и внутренний колониализм (1870–1914)	59
5.1. Гуано и селитра; Тихоокеанская война (1879–1883)	59
5.2. Каучук и Путумайо	61
5.3. Кофе, бананы и United Fruit	63
5.4. «Порядок и прогресс»: позитивисты и Порфириато	65
5.5. Завоевание пустыни, Араукания, депортация яки	68
5.6. Канудус (1896–1897)	70

Глава 6. Мексиканская революция (1910–1920)	74
6.1. Мадеро и конец Порфириата	74
6.2. Сапата и План Айялы	75
6.3. Вилья и Север	77
6.4. Магонисты	78
6.5. Конституция 1917 года: статьи 27 и 123	80
6.6. Убийство Сапаты и победа генералов	82
Глава 7. Рабочие, анархисты и первые левые (1890–1930)	84
7.1. Иммигранты и рождение рабочего движения	84
7.2. ФОРА и анархо-синдикализм	86
7.3. Икике (1907), «Трагическая неделя» (1919), «Патагония бунтующая» (1921)	88
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Ярослав Золотарёв

Латинская Америка: путь к свободе

Введение

0.1. Две серебряные горы

В 1545 году индеец Уальпа, преследуя сбежавшую ламу, заночевал на склоне горы в Андах, на высоте почти пяти километров. Чтобы не замёрзнуть, он развёл костёр, и пламя высветило в породе белые блестящие жилы. Так, по преданию, которое пересказывает Эдуардо Галеано, была открыта Серро-Рико — Богатая гора Потоси. Индейцы знали эту гору и раньше. Легенда говорит, что инка Уайна Капак собирался добывать в ней серебро, но гора прогремела и велела не трогать богатства, которые она хранит «для тех, кто придёт издалека». Те, кто пришёл издалека, ждать себя не заставили. Через несколько лет император Карл V пожаловал новому городу титул императорского и герб с надписью: «Я богатый Потоси, сокровищница мира, король гор, предмет зависти королей» (Галеано, с. 48). К середине XVII века в городе, выросшем на голом склоне, жило, по данным, которые приводит Галеано, около ста шестидесяти тысяч человек. Это было больше, чем в Севилье или Мадриде, а выражение «стоит целого Потоси» попало в «Дон Кихота» (с. 47).

Серебро было собственностью короны: в Испанию отправлялась королевская пятина, остальное оседало у владельцев рудников, купцов и чиновников, а затем тоже уплывало за океан, в Севилью, Антверпен и генуэзские банки. Добывали его индейцы. В 1570-х годах вице-король Франсиско де Толедо превратил старую инкскую трудовую повинность, миту, в конвейер: каждый седьмой взрослый мужчина из шестнадцати андских провинций должен был год отработать на горе, и ежегодно к Потоси гнали около тринадцати тысяч человек. Заменить умерших обязаны были касики, местные вожди, ставшие посредниками колониальной власти. Серебро выделяли из руды ртутью, которую везли из Уанкавелики, где рудник называли «шахтой смерти». Современник, доминиканский монах Доминго де Санто Томас, ещё в 1550 году назвал Потоси «адским зевом», который ежегодно заглатывает тысячи индейцев (с. 71). Сколько людей гора поглотила за три столетия, никто не знает. Галеано повторяет вслед за путешественником XIX века Джосайей Кондером цифру в восемь миллионов жизней, но большинство историков считают её сильно преувеличенной. Нам достаточно того, что спорить приходится о порядке миллионов и сотен тысяч, а не о самом факте.

Спустя почти двести лет, на другом краю Евразии, рудознатцы Акинфия Демидова искали руду на юге Западной Сибири по «чудским копиям», древним выработкам неизвестных рудокопов. Как и на Серро-Рико, здесь добывали металл задолго до пришедших издалека. В середине 1730-х годов они вышли к невысокой горе, которую называли Змеиной. Её руды оказались серебряными, и вскоре горное дело на Алтае стало для империи тем же, чем Потоси для Испании: главным источником серебра. В 1747 году, вскоре после смерти Демидова и слухов о том, что он тайно плавил серебро, императрица Елизавета забрала Колывано-Воскресенские заводы в собственность своего Кабинета. С этого времени и до 1917 года Алтайский горный округ был не просто казённым, а личным владением монарха. Доход от него шёл не в государственную казну, а царской семье. Во второй половине XVIII века Алтай, по распространённой оценке, давал до девяти десятых всего российского серебра. Первое же русское серебро выплавляли ещё раньше, в 1704 году, в Забайкалье, на Нерчинских заводах, которые позже тоже

перешли к Кабинету, а их рудники стали местом каторги. Именно в Благодатский рудник в 1826 году спустили первых декабристов.

На Алтае, как и в Андах, гора требовала людей, и их тоже получали принуждением. Горную работу несли приписные крестьяне: вместо подушной подати они отработывали на заводах, возили руду и уголь за сотни вёрст, бросая свою пашню в самую страдную пору. Мастеровых набирали рекрутской повинностью и держали на службе десятилетиями, их дети по рождению становились горнозаводскими людьми. Жаловаться было некому: хозяином края был тот, кому жалобы и писали. В «Старой Сибири» мы много говорили о Сибири без помещика, о крае, где крестьянин жил свободнее, чем в Центральной России. Алтайский горный округ был исключением: здесь помещиком был сам император, а крепостная зависимость приписных кончилась только в 1861 году. Змеиногорский рудник истощили к 1870-м годам. Сегодня Змеиногорск — городок примерно в десять тысяч жителей, Потоси — один из беднейших городов Боливии. Галеано записал слова старой жительницы Потоси: это «город, который больше других дал миру и сам теперь не имеет ничего» (с. 62). На Алтае такой фразы, насколько нам известно, никто не записал, но она подошла бы и сюда.

Сходство двух гор не случайно, и оно не только в металле. В обоих случаях богатство принадлежало не тем, кто жил рядом, и даже не краю, где его добывали, а монарху на другом конце огромной державы. В обоих случаях его добывали принуждением, а доход уходил в центр, и край после истощения рудника оставался с отвалами и руинами. Это и есть рента в самом чистом виде, та самая, ради которой, как мы писали в двух предыдущих томах, Сибирь присоединяли и удерживали: сначала пушная, потом горная и золотая, в наши дни нефтегазовая. Закон, к которому мы пришли в «Коренной Сибири», работает и здесь: судьба края и народа определяется не его «отсталостью» или «силой», а тем, насколько его земля нужна другим. Серро-Рико и Змеиная гора были нужны другим слишком сильно.

Но уже на этом первом сравнении видно и различие, которое будет сопровождать нас через всю книгу. Гору Потоси кормили индейцы. Колониальный порядок в Андах делил людей по происхождению, и принудительный труд был повинностью покорённых перед завоевателями. На Алтае в шахту шли прежде всего русские крестьяне, то есть сами колонисты. Коренные народы Алтая, которые в середине XVIII века оказались между гибнущим Джунгарским ханством и Россией, платили ясак, но в рудник их, как правило, не гнали. Колониальная эксплуатация в Сибири ложилась не только на «инородцев», но и на тех, кто пришёл их покорять. Это не делает её мягче, но делает иной, и отсюда вопрос, который мы унаследовали от областников: кто в Сибири колонизатор, а кто колония? В Латинской Америке ответ кажется очевидным, пока не присмотришься к креолам, которые двести лет назад сбросили власть Испании, но не отменили ни миту в её новых формах, ни рабство, ни власть над индейцами. Независимость пришла, а гора осталась. Почему книга о Сибири начинается в Андах и почему третий том серии уходит так далеко от Оби и Енисея, стоит объяснить отдельно.

0.2. Третий том: зачем выходить за пределы Сибири

Эта книга — третья в серии, и две предыдущие смотрели на Сибирь изнутри. «Старая Сибирь» рассказывала, как в Сибири появились сибиряки: от новгородских походов в Югру до областников конца XIX века, от воеводской избы до сибирской деревни, где крестьянин жил без помещика и с оглядкой на далёкое начальство. «Коренная Сибирь» пошла дальше и глубже: к народам, которые жили на этой земле до русских, к их обществам и к четырём векам встречи с империей, а затем с советским и нынешним государством. Обе книги задавали вопросы, на которые сибирский материал ответить не может. Не потому, что его мало, а потому, что сибирская история сложилась так, что некоторые возможности в ней просто не были испробованы. Чтобы узнать, чем они кончаются, нужно посмотреть туда, где их испробовали.

Выход за пределы Сибири — не наше изобретение. Это метод самих областников. Уже заглавие главной книги Николая Ядринцева, «Сибирь как колония» (1882), — сравнение: Сибирь понималась через то, что европейская наука того времени знала о колониях, прежде всего английских переселенческих, от Северной Америки до Австралии. Когда в 1865 году в Омске нашли прокламацию «Патриотам Сибири» и начали дело о «сибирском сепаратизме», следствие вменяло кружку Потанина и Ядринцева мысль об отделении Сибири и создании республики наподобие Соединённых Штатов. Сами областники от сепаратизма отказывались, их программой была автономия, свой университет, своя печать, а позже — самоуправление «как у доминиона Канада». Но зеркало они выбрали точно: край, заселённый выходцами из метрополии, который однажды решил, что хочет сам распоряжаться своей судьбой. Мы продолжаем тот же метод, только с материалом, которого у областников ещё не было. Они видели колонии XIX века. Мы можем увидеть весь XX век, век деколонизации, и то, что с ней стало.

В «Старой Сибири» мы остановились на вопросе, который областники поставили, но так и не решили: самостоятельность кого и по отношению к кому? Свобода казака и промышленника от воеводы могла означать несвободу ясачного человека. Вольность для своих спокойно уживалась с требованием дани от чужих. Народная колонизация была народной по своему субъекту, но не становилась от этого справедливой по последствиям. «Коренная Сибирь» показала ту же проблему с другой стороны: союз старожилов и коренных народов, о котором мечтал Потанин, возник в 1917 году лишь ненадолго. Мы предположили, что он не удался потому, что его строили сверху, от имени образованных старожилов, а не снизу, от общин.

Латинская Америка — место, где это противоречие было разыграно до конца. В каком-то смысле это Сибирь, где областническая программа победила, причём ещё в 1810–1820-е годы. Потомки переселенцев, креолы, освободились от власти далёкой метрополии и стали сами распоряжаться своими землями, рудниками и доходами. То, о чём сибирские автономисты могли только писать в прокламациях, в Лиме, Каракасе и Мехико стало государственным строем. И сразу выяснилось, что освобождение поселенческого общества не освобождает тех, на чьей земле оно поселилось. Индейцы получили вместо испанского коррехидора креольского помещика, мита сменилась долговой кабалой, а общинные земли в XIX веке расхищали под лозунгами либерализма и прогресса быстрее, чем при короле. Метрополия ушла, колониальный порядок остался. Отсюда и родилось то, что латиноамериканцы потом назовут «вторым освобождением». Независимость без деколонизации — это ответ на вопрос «самостоятельность кого и по отношению к кому», полученный на практике, и ответ этот неутешителен.

Есть и вторая причина, и для нас она главная. В Сибири левые никогда не были у власти как сибирский проект. Революцию и советский строй Сибирь получила из центра. Сибирскую областную думу, где областники работали вместе с эсерами, в январе 1918 года разогнали томские большевики, а Временное Сибирское правительство, возникшее летом того же года, уже к осени растворилось в белой диктатуре Колчака. Всё, что было потом, — Дальстрой, Норильск,

нефть Западной Сибири, укрупнение «неперспективных» сёл — было модернизацией, которую вели из Москвы, над Сибирью, а не сибиряки для себя. В Латинской Америке всё было иначе. Левые приходили к власти снова и снова, в разных странах и разными путями: через революцию, через выборы, через военный переворот. Они национализировали нефть и медь, делили латифундии, писали конституции, в которых признавались права коренных народов и даже права природы. Они пытались сделать ровно то, о чём сибиряки могли только спорить: забрать ренту у тех, кто её вывозит, и вернуть её тем, кто живёт на этой земле. Иногда это удавалось, чаще — наполовину, нередко кончалось катастрофой. Именно этот опыт, удачи и поражения, нам нужен прежде всего.

Здесь сразу возникает трудность, о которой стоит сказать заранее. Латиноамериканские левые приходили к власти в столицах, и их правительства сами становились центрами по отношению к своим окраинам: Лима по отношению к Андам, Каракас по отношению к нефтяной Сулии, Ла-Пас по отношению к индейским общинам и к равнинному Санта-Крусу. Поэтому латиноамериканский опыт отвечает не только на вопрос, что делать с рентой, но и на вопрос, который для Сибири ещё важнее: что происходит, когда перераспределением занимается центр, пусть даже левый, и где в этой схеме остаётся место для региона и общины. Областники и народовольцы-этнографы, на наследство которых мы опирались в двух прошлых томах, ответили бы на него по-разному. Латинская Америка даёт материал, чтобы проверить обоих.

Остаётся объяснить, почему для такой проверки мы выбрали именно Латинскую Америку, а не другие бывшие колонии. Переселенцы из Европы заселили не только Анды и Ла-Плату, но и Северную Америку, Австралию, Южную Африку, а колониальную ренту выкачивали из Индии и Конго не меньше, чем из Потоси. Выбор нуждается в объяснении.

0.3. Почему Латинская Америка

Колониальный мир нового времени можно грубо разделить на два типа. В колониях первого типа европейцы селились сами, массами и навсегда. Так сложились Соединённые Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Там переселенцы довольно рано получили самоуправление, а коренные народы были вытеснены, истреблены или загнаны в резервации и стали малочисленным меньшинством на собственной земле. Эти колонии не остались периферией. Они сами превратились в центры мирового хозяйства, а Соединённые Штаты стали новой метрополией, в том числе и для Латинской Америки. В колониях второго типа — в Индии, Индонезии, большей части Африки — европейцев было мало: чиновники, офицеры, торговцы, плантаторы. Деколонизация XX века означала для этих стран уход чужаков, и её двигателем был национализм покорённого большинства против пришлой власти.

Сибирь не укладывается ни в один из этих типов. От второго её отделяет главное: переселенцы составляют здесь подавляющее большинство, и никуда они не уйдут. Деколонизация в духе Индии или Алжира, где решение сводилось к формуле «колонизаторы, уходите», для Сибири невозможна и бессмысленна, как невозможна она для Аргентины или Чили. От первого типа Сибирь отличается не меньше. Переселенцы не получили в ней самоуправления и не стали новой метрополией. Край остался сырьевой периферией, а доход от его земли и недр, как мы видели на примере Змеиной горы и увидим ещё не раз, уходил и уходит в центр. Канада была идеалом областников, но Сибирь Канадой не стала.

Латинская Америка — третий, гибридный тип, и в этом её особая ценность для нас. Здесь были и массовые поселенцы, и многочисленные коренные народы, и миллионы привезённых из Африки рабов, и люди, родившиеся от их смешения. Здесь сложилась креольская элита — местные уроженцы европейского происхождения, чувствовавшие себя хозяевами края и обиженные властью далёкой метрополии, как сибирские областники были обижены властью Петербурга. Здесь с XVI века до наших дней господствует сырьевая экономика: серебро, сахар, гуано, селитра, каучук, медь, нефть, соя, литий. Рента от них уходила сначала в Испанию и Португалию, потом в Англию, потом в Соединённые Штаты, а внутри каждой страны — из

провинций в столицу. Именно это положение латиноамериканские экономисты середины XX века, Рауль Пребиш и его коллеги из Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, назвали отношением «центра» и «периферии». Сибирь описывается этой схемой почти без поправок, только центр у неё не за океаном, а в пределах той же страны.

Есть и ещё одно сходство, о котором вспоминают реже. Независимые латиноамериканские государства сами стали колонизаторами своих окраин. В те же десятилетия, когда Россия заселяла Амур и готовилась строить Транссиб, Аргентина вела «завоевание пустыни» — войну против индейцев Патагонии и пампы, Чили — «умиротворение Араукании», землю мапуче, которых испанцы за три века так и не смогли покорить. Мексика в начале XX века депортировала непокорных яки из Соноры на плантации Юкатана. Бразилия и Перу открыли Амазонию каучуковым компаниям, и каучуковый бум обернулся для индейцев Путумайо рабством и массовой гибелью. Всё это делали уже не испанцы, а республики, провозгласившие свободу и равенство. Латинская Америка знает, таким образом, обе формы колониализма: внешний, заморский, и внутренний, когда государство колонизирует собственную окраину. Сибирский случай — второй, и латиноамериканский опыт позволяет увидеть его со стороны.

Наконец, Латинская Америка сама по себе разнообразна, и это делает её лабораторией, а не одним примером. Аргентина, Уругвай и Чили — поселенческие общества, где потомки европейцев составляют большинство. Это ближе всего к старожильческой Сибири. Андские страны, Боливия, Перу, Эквадор, и Гватемала на юге Мезоамерики — страны, где коренные народы составляют значительную часть населения, а в Боливии, по переписям конца XX века, даже большинство. Там сохранились общины, языки кечуа и аймара, живая память о доколониальном прошлом. Мексика стоит посередине и создала целую идеологию смешения, «метисации», которая объявила всех мексиканцев одной метисной нацией. У этой идеологии есть близкие родственники и в нашей истории. Бразилия и Карибы добавляют опыт рабства, которого Сибирь в такой форме не знала. Внутри одного континента мы можем сравнивать не только Сибирь с Латинской Америкой, но и разные латиноамериканские пути между собой: как решала земельный вопрос Мексика и как Боливия, что сделали с медью в Чили и с нефтью в Венесуэле, чем кончилось признание коренных народов в конституциях Боливии и Эквадора.

Добавим к этому причину, о которой уже шла речь: в Латинской Америке левые не раз приходили к власти и пытались решить именно эти проблемы — ренты, земли, коренных народов, неравенства центра и окраин. Ни США с Канадой, ни большинство стран Азии и Африки не дают столь богатого и столь долгого опыта левых правительств, и почти нигде он не был так тесно связан с вопросом о сырьевой ренте. Поэтому, если искать внешнее зеркало для Сибири, то точнее Латинской Америки мы его не найдём.

Но зеркало - не значит двойник. Чем ближе мы подносим латиноамериканский опыт к сибирскому, тем заметнее становятся места, где он не подходит, и честное сравнение должно начинаться с них.

0.4. Где сравнение хромает

Первое и самое очевидное различие — государство. Латиноамериканские страны уже двести лет независимы. У них свои армии, свои деньги, свои места в ООН, свои долги перед МВФ и свои отношения с великими державами. Левые правительства в Боливии или Венесуэле распоряжались суверенным государством: они могли национализировать нефть, выгнать иностранную компанию, отказаться платить по долгу, пусть и дорогой ценой. Сибирь — часть одного государства, и её центр находится не за океаном, а в той же стране, говорит на том же языке и распоряжается той же армией. Любой сибирский проект — это проект региона внутри федерации, а не нации против метрополии. Поэтому латиноамериканские уроки о национализации для Сибири переводятся не напрямую. Вопрос для неё звучит не «чья нефть — наша или американская?», а «какая доля ренты остаётся в регионе и кто в регионе ею распоряжается». Иными словами, это вопрос бюджетного федерализма и местного самоуправления, а не суверенитета. Мы будем постоянно помнить, что латиноамериканские левые решали задачу, которая в Сибири стоит в другом масштабе.

Второе различие — масштаб. Латинская Америка — это около двадцати стран и больше шестисот миллионов человек. Сибирь вместе с Дальним Востоком занимает сопоставимую территорию, но живёт на ней около двадцати пяти миллионов, в двадцать с лишним раз меньше. Латиноамериканские столицы — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес — входят в число крупнейших городов мира, а население их окраинных трущобных районов исчисляется миллионами — больше, чем во всей Иркутской области. Социальные конфликты, которые двигали латиноамериканской политикой — безземельное крестьянство, миллионы людей в городских окраинах, массовая неформальная занятость, — в Сибири либо давно в прошлом, либо выглядят совсем иначе. Сибирская деревня не знала латифундии и безземелья, её бедой было скорее обратное: земли много, а людей и дорог мало, и сегодня деревня не бунтует, а пустеет.

Третье различие касается коренных народов, и оно для нас самое важное. В Андах и в Мезоамерике коренные народы — не меньшинство, а масса населения. В Боливии по переписи 2001 года больше шестидесяти процентов жителей назвали себя индейцами, в Гватемале — около сорока, в Перу миллионы говорят на кечуа и аймара. Эво Моралес пришёл к власти не как защитник малых народов, а как представитель большинства, которое пятьсот лет было отстранено от власти. В Сибири всё иначе. Коренные народы, от многочисленных якутов и бурят до малочисленных народов Севера, вместе составляют, по нашей оценке, около полутора миллионов человек, то есть лишь несколько процентов населения. Даже там, где они составляют большинство — в Туве, отчасти в Якутии, — это большинство одного региона, а не страны. Поэтому для сибирского коренного вопроса ближе опыт тех латиноамериканских народов, которые оказались меньшинством в поселенческом государстве: мапуче в Чили, индейцев Амазонии, народов Аргентины и севера Мексики. Андский опыт индейского большинства сибирскому напрямую не подходит, но он показывает, что происходит, когда коренные народы берут власть, а не только просят защиты, — и это знание нелишнее.

Четвёртое различие — природа и хозяйство. Латинская Америка — прежде всего тропики и субтропики: плантации сахара, кофе, бананов, хлопка, каучука, огромные скотоводческие поместья. На этом хозяйстве держались рабство, пеонаж, латифундия, и земельный вопрос стал там центральным вопросом всей политики XX века. В Сибири плантаций не было, и её рента — меха, металлы, золото, уголь, нефть, газ, алмазы — ближе к горной и нефтяной экономике. Поэтому для сравнения нам важнее горняцкая Боливия, медное Чили и нефтяные Венесуэла и Мексика, чем кофейная Колумбия или сахарная Куба. Аграрные реформы будут в книге занимать много места, потому что без них не понять латиноамериканскую левую политику, но переносить их выводы на Сибирь мы будем осторожно.

Пятое различие — церковь. Католическая церковь была в Латинской Америке одним из главных колониальных институтов и одним из крупнейших землевладельцев. Против неё воевали либералы XIX века, и в то же время из неё в XX веке выросла теология освобождения, давшая левому движению тысячи священников и мирян. Православная церковь в Сибири такой роли не играла: она была частью государственного аппарата, её миссия у коренных народов была часто формальной, и в Сибири она не породила массового движения за социальную справедливость. Для светской позиции, которой мы держались в прошлых томах, это различие упрощает дело, но оно же означает, что целый пласт латиноамериканского опыта — союз левых и верующих — к Сибири почти неприменим.

Шестое различие — соседство с великой державой. Судьбу латиноамериканских левых проектов слишком часто решали не в Лиме или Сантьяго, а в Вашингтоне. Гватемала в 1954 году, Бразилия в 1964-м, Чили в 1973-м, Никарагуа в 1980-е — везде переворот или война шли при прямом участии Соединённых Штатов. Когда мы разбираем поражения левых, мы обязаны отделять то, что они сделали неправильно сами, от того, что с ними сделали извне. Ноам Хомский посвятил этому десятки книг, и без его взгляда из США картина была бы неполной. Но у Сибири нет своего Вашингтона. Её «внешняя сила» — это её собственный центр, и это делает сибирскую ситуацию одновременно проще и безнадежнее: иностранного интервента можно изгнать, а от собственного государства не уйдёшь — его можно только переустроить.

И наконец, различие, которое работает в обратную сторону. Сибирь прожила семьдесят лет государственного социализма, и этот опыт у неё есть, а у Латинской Америки, за исключением Кубы, его нет. Латиноамериканские левые почти всегда действовали внутри рыночной экономики, в условиях выборов, оппозиции, свободной прессы или хотя бы её остатков. Сибиряк знает то, о чём латиноамериканский левый часто только подозревает: что бывает, когда левое государство становится всемогущим, забирает ренту целиком и само решает за всех, как им жить. Мы помним Дальстрой, укрупнение «неперспективных» деревень и интернаты для детей оленеводов. Поэтому смотреть на латиноамериканский опыт мы будем не глазами наивного сторонника, а глазами людей, которые видели, во что способна превратиться централизованная модернизация под красным флагом.

Всё это не отменяет сравнения, а делает его точнее. Мы не ищем в Латинской Америке будущего Сибири и не собираемся переносить боливийские или венесуэльские рецепты на Енисей. Мы сравниваем механизмы: как устроена рента и куда она уходит, как центр управляет окраиной, как коренные общины отстаивают землю, что происходит с левым движением, когда оно получает власть. Эти механизмы действуют поверх различий в масштабе, климате и истории. И первый из них, который мы должны понять, уже был назван: независимость, пришедшая двести лет назад, так и не стала деколонизацией. Что вообще значит деколонизация там, где независимость уже есть, — с этого вопроса и начинается латиноамериканская левая мысль.

0.5. Независимость без деколонизации

В 1891 году кубинский поэт и революционер Хосе Марти, живший тогда в эмиграции в Нью-Йорке, опубликовал статью «Наша Америка». Куба ещё оставалась испанской колонией, а большинство стран континента были независимы уже семьдесят лет. Но Марти писал не о Кубе, а о них, и главный его диагноз уложился в одну фразу: «колония продолжала жить в республике». Креольские элиты, писал он, скопировали чужие конституции, французские и североамериканские, и управляли по ним страной, которой не знали и не хотели знать. Индеец, негр и крестьянин остались за стенами этих республик, как раньше оставались за стенами вице-королевств. Выход Марти видел в том, чтобы строить государство из собственного материала, а не из чужих книг, и сделать общее дело с угнетёнными. Спустя восемьдесят лет, когда Эдуардо Галеано писал «Вскрытые вены Латинской Америки», эту задачу уже называли «вторым освобождением»: первое освобождение, от Испании, сменило хозяев, второе должно было изменить сам порядок.

Этой фразой Марти открывается, по существу, вся латиноамериканская левая мысль XX века. Её исходный пункт — не борьба за независимость, которая давно завоёвана, а вопрос о том, почему независимость ничего не изменила. Ответы на него менялись, но набор задач, которые из них вытекали, оставался удивительно постоянным. Первая задача — вернуть себе недра. Серебро, селитра, медь, олово, нефть уходили за границу, и доход от них получали иностранные компании, а внутри страны — узкий круг людей, связанных с ними. Отсюда цепь национализаций, которая пройдёт через весь век: мексиканская нефть в 1938 году, боливийское олово в 1952-м, чилийская медь в 1971-м, венесуэльская нефть в 1976-м, боливийский газ в 2006-м. Вторая задача — земля. Латифундия, огромное поместье, где работали безземельные пеоны, была прямой наследницей колониальной энкомьенды, и почти каждая латиноамериканская революция начиналась с требования её разделить. Перуанец Хосе Карлос Мариатеги сформулировал это для андского мира с предельной ясностью: решение индейской проблемы надо искать в проблеме земли (Мариатеги, с. 88).

Третья задача — промышленность. Страны, которые вывозят сырьё и ввозят готовые товары, беднеют, потому что цены на сырьё в долгосрочной перспективе падают относительно цен на фабричную продукцию. Этот вывод Рауля Пребиша стал основой целой экономической политики — индустриализации, замещающей импорт. Четвёртая задача — коренные народы. Независимые республики объявили индейцев равноправными гражданами и тем самым отняли у них те немногие особые права, в том числе на общинную землю, которые оставляли им испанские законы. В XX веке государства попытались исправить это, но сначала сверху, через политику «индихенизма»: просвещённые специалисты решали, как индейцам стать полноценными членами нации. Только в конце века сами коренные движения потребовали не включения, а признания, не ассимиляции, а автономии. Пятая задача, вытекающая из всех предыдущих, — выйти из сырьевой модели вообще, перестать быть рудником и плантацией для чужих рынков.

Читатель двух наших предыдущих томов узнает в этом списке почти всё. Ядринцев в «Сибири как колонии» описывал тот же механизм, что и Пребиш: Сибирь вывозит сырьё и ввозит мануфактуру, московские купцы держат её в долгу и монополии, а своей промышленности и своего университета у неё нет. Областники требовали сибирского университета, сибирской печати, местной переработки и права сибиряков распоряжаться своей землёй. В «Коренной Сибири» мы видели и сибирский вариант «индихенизма» — Комитет Севера 1920-х годов, где искренние люди решали за народы Севера, как им жить, — и сибирский вариант спора о недрах и поверхности, в котором священное озеро становится кварталом месторождения. Разница в том, что в Латинской Америке эти задачи не остались программой в статьях и прокламациях.

Их пытались выполнить правительства, партии, армии и массовые движения, на протяжении целого века и в двух десятках стран.

И почти везде они упирались в одни и те же стены. Первая стена — сама рента. Национализация меди или нефти давала государству огромные деньги, но привязывала его к тем же мировым ценам. Когда цены росли, левые правительства строили школы и больницы, раздавали пособия и выигрывали выборы. Когда цены падали, бюджет рушился, и расплачиваться приходилось тем же, кому раньше помогали. Вторая стена — внешнее давление: бойкоты, займы с условиями, перевороты при участии Соединённых Штатов. Третья — собственные олигархии и армии, которые не собирались уступать землю и власть. Четвёртая стена оказалась самой неожиданной и для нас самой важной: это само государство, в том числе левое. Забрав ренту у иностранцев, оно становилось новым её хозяином и распоряжалось ею из столицы, часто не спрашивая тех, на чьей земле шла добыча. Боливийские и эквадорские индейские общины, которые приводили к власти левых президентов, через несколько лет оказывались в конфликте с этими же президентами — из-за дороги через заповедник, из-за нового рудника, из-за нефтяной скважины на их земле. Уругвайский исследователь Эдуардо Гудинас назвал эту политику «неоэкстрактивизмом»: левые перераспределяют доход от добычи иначе, чем правые, но саму добывающую модель не трогают, а часто и расширяют.

В этом и состоит главный вопрос книги. Он звучит не «правы ли были левые?», а иначе: почему лучшие проекты освобождения, начатые с правильного диагноза, так часто воспроизводили колониальную схему, против которой были направлены? Где проходит граница между государством, которое забирает ренту у иностранцев, чтобы вернуть её народу, и государством, которое просто становится новым хозяином горы? И существуют ли другие пути, где решения принимают не столицы, а сами общины? Вопрос этот задаётся не со стороны, а изнутри, и поэтому надо сразу сказать, откуда мы смотрим.

0.6. Как мы смотрим

В «Коренной Сибири» мы прямо сказали, что пишем не «объективный» обзор мнений, а книгу с позицией, и что не собираемся искать середину между тем, кто грабил, и тем, кого грабили. Та же позиция остаётся и здесь. Мы смотрим на Латинскую Америку изнутри левого движения, но с его либертарной, анархистской стороны. Это значит, что нам близки децентрализация, самоуправление, солидарность общин и недоверие к любой власти, которая решает за людей, как им жить. Это значит также, что нас интересует не столько, кто победил на выборах или в войне, сколько то, что стало с людьми на земле: с шахтёрами, крестьянами, индейскими общинами, жителями окраин. Как и в двух прошлых томах, мы стараемся видеть в народах субъектов, а не фон, и помнить, что ни «левые», ни «индейцы», ни «креолы» никогда не были монолитом.

Но в этой книге у нашей позиции появляется трудность, которой не было раньше. В сибирских томах власть всегда была чужой: воевода, губернатор, Кабинет, наркомат, министерство. Обличать её было больно, но просто, потому что это была не наша власть. В Латинской Америке «наш лагерь» не раз сам становился государством. Левые президенты национализировали недра, министры-социалисты проводили аграрную реформу, революционные армии брали столицы. Мы не можем судить их по одной мерке, а правых по другой. Если мы называем колониальным порядок, при котором решения о земле общины принимаются в столице, мы должны называть его так и тогда, когда столица говорит языком социализма. Поэтому эта книга — во многом разговор с собственным лагерем, а не только с его противниками.

Для такого разговора есть традиция, и она старше, чем кажется. Первым, кто всерьёз поставил вопрос о латиноамериканском социализме, был перуанец Хосе Карлос Мариатеги, и его главная мысль была направлена именно против готовых образцов: социализм в Америке должен быть «не калькой, не копией, а героическим творчеством». Характерно, что советское предисловие к русскому изданию «Семи очерков» приводит эти слова в суженном виде — «социализм в Перу» — и тут же называет их автора «последовательным ленинцем» (Мариатеги, с. 34). Мысль о том, что освобождение нельзя импортировать, легко превращается в свою противоположность, стоит только решить, что правильный образец у нас уже есть. Мы будем помнить об этом, в том числе когда речь пойдёт о нашем собственном образце.

Внутри латиноамериканского левого движения всегда существовала линия, которая спорила не только с капиталом, но и с государством, в том числе с революционным. Анархисты были в числе первых организаторов рабочих в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Гаване и Мехико. Рикардо Флорес Магон и его газета «Регенерасьон» подготовили Мексиканскую революцию и дали ей лозунг «Земля и свобода», который подхватил Эмилиано Сапата. Аргентинская рабочая федерация ФОРА в начале XX века была одной из крупнейших анархо-синдикалистских организаций мира, а забастовки батраков в Патагонии в 1921 году закончились расстрелом сотен людей. После 1959 года кубинские анархисты, которые сражались против Батисты, оказались в тюрьмах и эмиграции. Франк Фернандес, историк кубинского анархизма, подчёркивает важное различие: его товарищи не возражали против экспроприации сахарных централей и банков, они возражали против того, что вся собственность страны перешла не к работникам, а в руки Кастро и компартии. Это различие между обобществлением и огосударствлением проходит через всю нашу книгу.

Та же книга Фернандеса содержит и урок для нас самих. Большая часть мирового анархистского движения в 1960-е годы долго поддерживала кубинский режим и отказывала в солидарности кубинским товарищам, которых этот режим преследовал. Один из испанских анархистов позже подвёл итог горькой фразой: в кубинском случае «острое чутьё свободы, которое составляет суть анархизма, прискорбно изменило». Мы не хотим повторять эту ошибку ни в

одну, ни в другую сторону. Мы не хотим закрывать глаза на то, что делает левое правительство, из солидарности с ним против империализма. И мы не хотим списывать его реальные достижения из недоверия к государству как таковому.

Поэтому среди наших собеседников в этой книге будут не только теоретики и правительства, но и те, кто спорил с ними снизу. Ноам Хомский десятилетиями разоблачал политику Соединённых Штатов в Латинской Америке и поддерживал правительство Уго Чавеса, но в 2011 году публично выступил против его обращения с судьёй Марией Лурдес Афиуни и против того, что вся власть сосредоточилась в руках президента. Уругвайский журналист Рауль Сибечи, проживший годы рядом с боливийскими и другими движениями, показал, как общины Эль-Альто в 2003 году свергли президента без партий и вождей, а потом наблюдали, как их восстание превращают в государственную политику, уже без них. Сапатисты мексиканского штата Чьяпас с 1994 года строят автономное самоуправление и сознательно отказываются брать государственную власть. Их принцип «управлять, подчиняясь» кажется нам одним из самых важных политических открытий континента.

Правые проекты мы тоже не будем изображать карикатурой. Диктатура Пиночета в Чили была режимом террора, пыток и исчезновений, и никакие экономические показатели этого не оправдывают. Но по ряду показателей чилийская модель, созданная «чикагскими мальчиками» и затем унаследованная демократическими правительствами, действительно «сработала»: экономика росла, бедность сократилась. Одновременно Чили осталась одной из самых неравных стран континента, а медь и вода оказались в руках немногих. Понять, почему правые рецепты иногда дают рост, а левые иногда кончаются разорением, нужно не для того, чтобы примирить их, а чтобы не проигрывать снова. Честный разбор поражений собственного лагеря полезнее, чем ещё одна книга о том, какие плохие враги.

Из этого вытекают правила, которые мы переносим из двух прошлых томов. Называть вещи своими именами: переворот — переворотом, завоевание — завоеванием, репрессии — репрессиями, какой бы лагерь их ни проводил. Не идеализировать жертв и не обвинять их. Там, где факты спорны, говорить об этом прямо, а свои предположения отмечать как предположения. И помнить, что взгляд изнутри — это тоже определённый взгляд, со своими слепыми пятнами. Наш взгляд сложился по книгам, и книги эти тоже смотрят на Латинскую Америку с определённых мест.

0.7. Источники и их оптики

Главные наши собеседники — сами латиноамериканцы, и мы стараемся читать их в оригинале, по-испански, а там, где удобнее для русского читателя, по опубликованным переводам. Первый из них — Мариатеги, чьи «Семь очерков истолкования перуанской действительности» (1928) остаются, пожалуй, самой важной книгой латиноамериканской левой мысли: в ней впервые соединены марксизм, индейский вопрос, проблема земли и, что для нас особенно ценно, отдельный очерк о регионализме и централизме. Второй круг — экономисты Экономической комиссии ООН для Латинской Америки во главе с Раулем Пребишем и выросшая из спора с ними «теория зависимости» 1960–1970-х годов: Андре Гундер Франк, Теотониу дус Сантус, Руй Мауру Марини, Фернанду Энрики Кардозу и Энсо Фалетто. Третий — так называемая деколониальная школа конца XX — начала XXI века: перуанец Анибаль Кихано с его понятием «колониальности власти», Вальтер Миньоло, Энрике Дуссель, а также их боливийская оппонентка Сильвия Ривера Кусиканки, которая упрекает деколониальных профессоров в том, что они сделали из деколонизации академическую моду, не спросив самих индейцев. Четвёртый круг — голоса движений: сапатистские коммунисты, книги Рауля Сибечи, история кубинского анархизма Франка Фернандеса.

У каждой из этих оптик есть своё слепое пятно, и честнее сказать о них сразу. Теоретики зависимости блестяще объяснили, почему периферия остаётся периферией, но судьба одного из них выглядит как притча: Фернанду Энрики Кардозу, соавтор классической книги «Зависимость и развитие в Латинской Америке», в 1990-е годы стал президентом Бразилии и провёл одну из самых последовательных в регионе программ приватизации. Деколониальная школа тонко описывает, как колониальный порядок живёт в языке, знании и расовых иерархиях, но часто говорит на языке, недоступном тем, о ком пишет, и мало интересуется экономикой. Голоса движений правдивы в том, что они видят снизу, но пристрастны, как любая сторона в споре. Мы не считаем пристрастность пороком — мы и сами пристрастны, — но держим её в уме.

Отдельное место занимает Эдуардо Галеано. Его «Вскрытые вены Латинской Америки» (1971) — не научная монография, а публицистика в лучшем смысле слова: страстная, документированная, написанная для тех, кто никогда не откроет учёный трактат. Для нас это образец жанра, в котором написана и наша серия. Но у страсти есть цена. Галеано иногда берёт самые большие цифры из тех, что может найти, — вспомним восемь миллионов погибших в Потоси, — и почти не видит внутренних противоречий в лагере угнетённых. Сам он в конце жизни признавался, что не смог бы перечитать эту книгу, написанную в молодости, когда он ещё плохо знал экономику. Мы цитируем Галеано с благодарностью, но проверяем.

Ноам Хомский смотрит на Латинскую Америку из Соединённых Штатов, и это одновременно его сила и его граница. Никто лучше него не показал, как Вашингтон десятилетиями разрушал латиноамериканские попытки жить по-своему: от Гватемалы 1954 года до Никарагуа 1980-х, от «доктрины Монро» до Вашингтонского консенсуса. Его книги «501-й год: завоевание продолжается» и «Прибыль на людях» мы будем использовать постоянно. Но Хомского интересует прежде всего то, что мешало латиноамериканцам извне, а не то, как их проекты были устроены изнутри. Поэтому о внешних ограничениях мы будем спрашивать его, а о внутренней логике — самих латиноамериканцев.

И наконец, советская латиноамериканистика. Для русского читателя именно она долгое время была главным окном на континент, и мы тоже во многом смотрим через это окно: базовую фактическую канву XIX века нам даёт учебник Моисея Альперовича и Льва Слёзкина «История Латинской Америки», Мариатеги мы цитируем по русскому изданию 1963 года под редакцией Анатолия Шульговского, Галеано — по переводу издательства «Прогресс» 1986

года. Фактическая сторона этих книг, как правило, надёжна, и мы ею пользуемся. Но их оптика требует разговора. Учебник Альперовича и Слёзкина, вышедший в 1991 году, последнем году Советского Союза, начинается с того, что раскладывает историю континента по ступеням формационной лестницы: доколумбовы цивилизации находились «на различных ступенях первобытнообщинного строя» или раннеклассового общества, колониальный период — это «феодализм» с зачатками капитализма, война за независимость — «буржуазная революция в широком смысле» (Альперович, Слёзкин, с. 3–4). В «Коренной Сибири» мы уже спорили с этой лестницей, по которой советская наука раскладывала народы Севера, объявляя одних «отсталыми», а других «передовыми». Здесь та же лестница приложена к инкам и ацтекам.

В этой оптике есть и более глубокий парадокс. Советская наука охотно и подробно описывала отношения «центра» и «периферии», когда речь шла об империализме Соединённых Штатов, о вывозе ренты из Боливии или Чили, о латифундии и индейском вопросе. Но те же самые понятия никогда не применялись к собственной периферии: к Сибири, Средней Азии или Северу. Колонией могла быть Латинская Америка, но не Сибирь. Мы предполагаем, что именно поэтому советская латиноамериканистика была по-своему смелой наукой: говоря о чужих колониях, её авторы нередко говорили то, чего нельзя было сказать о своих. Есть здесь и деталь, мимо которой трудно пройти. Соавтор учебника Лев Слёзкин, насколько нам известно, был отцом Юрия Слёзкина, автора «Арктических зеркал» — книги о России и малых народах Севера, на которую мы опирались во втором томе. Одна семья, два поколения, и оба предмета нашей серии: Латинская Америка у отца, сибирский Север у сына, написанный уже в эмиграции и уже без формационной лестницы.

Сибирскую сторону сравнения мы строим по двум предыдущим томам серии и по литературе, на которую они опирались: от Ядринцева и Потанина до современных этнографов. Там, где мы переводим сами, это отмечено. Там, где источники спорят, мы говорим, кто и о чём. Там, где данных мало, мы предупреждаем, что предполагаем. Остаётся сказать, как из всех этих голосов сложена сама книга.

0.8. Как устроена книга

Книгу можно было бы построить по странам: глава о Мексике, глава о Боливии, глава о Чили. Но тогда потерялось бы главное — то, как опыт одной страны становился уроком для другой. Сальвадор Альенде смотрел на Кубу и хотел сделать то же самое без войны. Уго Чавес смотрел на Альенде и помнил, чем кончился мирный путь. Эво Моралес учился на всех сразу. Левые континента жили в общем пространстве, спорили друг с другом и повторяли одни и те же ошибки с разницей в одно поколение. Поэтому книга построена по хронологическим циклам, а внутри каждого цикла мы подробно разбираем один-два ключевых эксперимента, не стараясь пересказать историю всех двадцати стран.

Первая часть описывает исходную ситуацию: век независимости без деколонизации, от войн за независимость до 1930 года. Это время креольских республик, либеральных законов, отнимавших землю у индейских общин, экспортных бумов гуано, селитры и кофе, и первых ответов на всё это — от Мексиканской революции 1910–1917 годов до Мариатеги. Вторая часть посвящена национально-популярному циклу 1930–1960-х годов, когда государство впервые попыталось забрать ренту у иностранцев и направить её на развитие. Здесь Мексика Ласаро Карденаса с её национализацией нефти и крупнейшей аграрной реформой континента, Боливийская революция 1952 года, Гватемала Хакобо Арбенса и её свержение, а также неудобные для левых случаи Хуана Перона и Жетулиу Варгаса, и рядом с ними — экономическая теория Пребиша. Третья часть — революционный цикл 1959–1990 годов: Куба, Чили Альенде как попытка мирного пути к социализму, Перу генерала Веласко, где аграрную реформу провели левые военные, никарагуанские сандинисты, а в теории — школа зависимости.

Четвёртая часть отдана правому ответу: военным диктатурам Бразилии, Чили и Аргентины, «чикагским мальчикам», долговому кризису 1980-х и неолиберальным реформам 1990-х. Мы разбираем их коротко, но всерьёз, потому что без них не понять, против чего поднялась следующая волна. Пятая часть — «розовый прилив» 1998–2015 годов: Венесуэла Чавеса, Боливия Моралеса с её плюринациональным государством, Эквадор Рафаэля Корреа с правами природы в конституции, Бразилия Лулы, Аргентина Киршнеров. Именно здесь центральной становится проблема неоэкстрактивизма, а вместе с ней и конфликт левых правительств с движениями, которые привели их к власти. Шестая часть рассказывает о сегодняшнем дне: о второй левой волне в Мексике, Колумбии, Чили и Бразилии, о правом контрприливе, символами которого стали Хавьер Милей в Аргентине и Найиб Букеле в Сальвадоре, и о литии, который всё чаще называют новой нефтью, а андский «литиевый треугольник» — новым Потоси.

Между частями стоят сквозные главы, где мы собираем материал всех циклов вокруг одного вопроса. Их четыре. Первая — о ренте: кто и как получал доход от недр, что меняла национализация и почему рента так часто развращала тех, кто её отбирал. Вторая — о земле: от латифундии и общины через аграрные реформы к нынешним захватам земли под сою и рудники. Третья — о коренных народах: от индихенизма к движениям конца XX века, к конвенции МОТ № 169, которую ратифицировало большинство латиноамериканских стран, и к плюринациональным конституциям. Четвёртая — о регионах и центре. Для Сибири она, вероятно, самая важная. Рядом с этими главами проходит ещё одна линия, которую обычно выпускают из истории латиноамериканских левых: линия тех, кто искал освобождения не через государство, а снизу, от анархистов начала века до сапатистов.

Сибирские параллели появляются там, где они содержательны, а не в каждом параграфе. Чаще всего это будет в сквозных главах, где механизмы видны лучше, чем в хронике событий. Мы заранее не знаем, какие из них окажутся сильнее, а какие рассыплются при проверке, и это одна из причин, ради которых книга пишется.

Чтобы читателю было легче держать нить, назовём вопросы, к которым мы будем возвращаться. Кому достаётся рента — и что меняется, когда её забирает не иностранная компания, а своё государство? Кто действует в каждом из проектов — государство, партия, армия, движение, община — и кому в итоге принадлежат решения? Почему в Латинской Америке регионализм так часто оказывается правым: богатые провинции Санта-Крус в Боливии, Гуаякиль в Эквадоре, нефтяная Сулия в Венесуэле требовали автономии именно против левых правительств, которые хотели перераспределять их доходы в пользу бедных районов? Для Сибири это, пожалуй, самый острый урок, и мы подходим к нему без готового ответа. И наконец, становятся ли коренные народы в этих проектах объектом модернизации или её авторами?

С этими вопросами мы и отправляемся в путь. Начнём с того места, где закончили первый параграф: с континента, который двести лет назад освободился от Испании и Португалии, но остался в тени своих серебряных гор.



Раздел I. Независимость без деколонизации (1780–1930)

Глава 1. Колониальный порядок и его последствия (до 1810)

.1.

Две республики: испанцы и индейцы — сословная сегрегация, трибуто, мита, касики-посредники.

Чтобы понять, что именно не изменила независимость, нужно сначала увидеть, как был устроен порядок, который она унаследовала. Испанская монархия не считала свои американские владения колониями в позднейшем смысле слова. Юридически это были королевства короны Кастилии, такие же, как Толедо или Гранада, а их коренные жители — свободные вассалы короля. Но свобода эта была особого рода. Уже в XVI веке юристы и богословы, спорившие о правах индейцев, пришли к решению, которое определило жизнь континента на три столетия: общество Индий должно состоять из двух отдельных «республик» — республики испанцев и республики индейцев. Слово «республика» означало здесь не форму правления, а сообщество со своими законами, обязанностями и правами. Испанцы жили в городах и владели землёй как завоеватели и их потомки. Индейцы жили в своих селениях и платили за покровительство короны.

Эта схема родилась из спора, который принёс Испании славу и позор одновременно. Бартоломе де Лас Касас и его единомышленники описали истребление индейцев на Антильских островах, и в 1542 году император Карл V издал Новые законы, запретившие обращать индейцев в рабство и ограничившие энкомьенду — право конкистадора получать дань и труд с «порученных» ему индейцев. Поселенцы Перу в ответ подняли восстание и убили вице-короля, и законы пришлось смягчить, но принцип остался: индеец — подданный короля, а не собственность колониста (Альперович, Слёзкин, с. 26–28). Защищать его должна была сама корона, через своих чиновников, суды и священников. Именно так родилась фигура, знакомая нам по сибирской истории: народ, которого государство одновременно защищает и эксплуатирует и в этой двойной роли не видит противоречия.

Жизнь республики индейцев держалась на трёх опорах. Первая — трибуто, подушная подать, которую платили взрослые мужчины. Для казны вице-королевства Перу она была одним из главных доходов, а для индейца — главным знаком его положения: платить трибуто значило быть индейцем. Вторая опора — принудительный труд. В Андах он назывался митой и отправлял людей на рудники Потоси и Уанкавелики, в Мексике — репартимьенто, но смысл был один: определённая доля мужчин общины обязана была по очереди работать там, куда её направят власти (с. 28). Третья опора — земля. Селения индейцев получали общинные земли и собственную кассу, и корона запрещала испанцам селиться среди индейцев, а индейцам — без разрешения покидать свои селения. Это разделение нарушалось постоянно, но само его существование показывает логику системы: индейцев следовало держать на месте, чтобы их можно было сосчитать, обложить и позвать на работу.

Для этого их сначала нужно было собрать. В 1570-х годах вице-король Франсиско де Толедо, тот самый, что перестроил миту, провёл в Андах великое переселение: сотни тысяч людей из разбросанных по горам посёлков переселили в новые, распланированные по испанскому образцу селения — «редукции» — с площадью, церковью и домом коррехидора. Вместе с ними перестраивалась и сама андская община. Старая единица родства и хозяйства,

айлью, сохранилась, но оказалась вписана в колониальное селение, привязана к его земле и к его подати. Здесь мы узнаём то, что в «Коренной Сибири» назвали самым надёжным инструментом власти: собрать кочевых и рассеянных там, где их удобно контролировать, крестить и облагать. Имперская Россия делала это с ясачными волостями, советская — с укрупнением и «неперспективными» посёлками. Испанская монархия сделала это на четыре века раньше и в масштабе, которого Сибирь не знала.

Между двумя республиками стоял посредник. Корона не могла управлять миллионами индейцев напрямую и опиралась на местную знать — касиков, как их называли в Мексике, или курак, как их называли в Андах. Они собирали трибuto, выставляли людей на миту, отвечали за порядок и в награду сохраняли привилегии: освобождение от подати, право носить испанскую одежду и оружие, иногда немалое богатство. Коррехидор, испанский чиновник округа, сидел над ними и обогащался на принудительной продаже индейцам товаров по назначенным им же ценам. Положение касика было двойственным: он был одновременно защитником общины и сборщиком с неё, её голосом перед властью и рукой власти в общине. В Сибири ту же роль играли князцы, тойоны и шуленги, и вывод, к которому мы пришли во втором томе, подходит и здесь: неравенство внутри коренных обществ почти всегда росло там, где к общине пристраивалась внешняя власть. Не случайно самое мощное индейское восстание колониальной эпохи поднял именно кураке — человек, лучше всех знавший, как работает эта машина изнутри.

Советские историки описывали индейцев колонии как «совершенно бесправных» (с. 28), и в смысле распределения сил это верно. Но такая формула снова превращает народ в фон. Индейцы не только страдали, они пользовались той узкой щелью, которую оставляла им система. Они вели бесконечные тяжбы в королевских судах за землю, против злоупотреблений коррехидоров и священников. В Мексике для них существовал особый суд, и архивы заполнены их исками. Они уходили из своих селений, чтобы избежать миты, становились «пришлыми» в чужих общинах или наёмными работниками у испанцев. Они вписывали христианских святых в свои праздники и хранили старые обычаи под новыми именами. Защита короны была реальной ровно настолько, насколько индейцы умели ею пользоваться, и это тоже знакомо по Сибири, где ясачные люди писали челобитные царю на воевод.

Мы предполагаем, что именно эта схема, а не только грубое насилие завоевания, объясняет удивительную живучесть колониального порядка. Две республики давали индейцам немного защиты и много обязанностей, и главное — они закрепляли за ними особое место внизу, отдельное и неизменное. Империя, как мы писали в «Коренной Сибири», частично создавала тот порядок, который затем описывала как традиционный. Андская община, какой её увидят реформаторы XIX века и Мариатеги в XX, была наполовину доколумбовым айлью и наполовину колониальной редукцией. Но уже к XVIII веку чистая схема двух республик не описывала реальности. Между испанцами и индейцами выросли миллионы людей, которые не принадлежали ни к одной из республик, и колониальному порядку пришлось придумывать, как быть с ними.

1.2. Касты

В мексиканских музеях висят странные картины XVIII века. Обычно их шестнадцать, в одной раме или в серии. На каждой — семья: мужчина, женщина и ребёнок, иногда за работой, в лавке, на кухне, на улице. Под каждой подпись, похожая на арифметическое действие: «От испанца и индеанки — метис». «От испанца и метиски — кастисо». «От испанца и негритянки — мулат». Дальше формулы становятся всё изощрённее, а названия — всё страннее: «волк», «койот», «прыгни назад», «повисший в воздухе», «я тебя не понимаю». Эти картины называют «пинтурас де кастас», картинами каст. Их заказывали и в колониях, и в Испании,

их дарили вице-королям и рассылали по европейским кабинетам редкостей. Они показывали мир, в котором каждый человек занимает своё место по тому, от кого он родился.

Две республики были придуманы для мира, где есть только испанцы и индейцы. Но уже через одно поколение после конкисты этот мир перестал существовать. Завоеватели приезжали почти без женщин, и первые метисы появились одновременно с первыми испанскими городами. Работоторговля привезла в Америку миллионы африканцев, и в Бразилии, на Карибских островах, на побережье Перу и в Венесуэле их потомки составили огромную часть населения. От испанцев, индейцев и африканцев рождались люди, которые не принадлежали ни к одной из республик: не платили трибuto, но и не имели общинной земли, не были рабами, но и не были «испанцами». Колониальный порядок ответил на это тем, что начал измерять происхождение.

Наверху стояли люди, родившиеся в Испании, — «пенинсуларес», уроженцы полуострова. Их было немного, но они занимали почти все высшие должности в администрации, армии и церкви и держали в руках заморскую торговлю. Ниже — креолы, родившиеся в Америке потомки европейцев. По закону они были равны с испанцами, на деле их лишь в порядке исключения назначали на высшие посты. Именно из креолов выходили крупные землевладельцы, владельцы рудников и мануфактур, адвокаты, священники и учёные колонии. Альперович и Слёзкин справедливо замечают, что термин «креол» весьма условен: большинство из них имело ту или иную примесь индейской или африканской крови, и тем ревностнее они подчёркивали свою «чистоту» (Альперович, Слёзкин, с. 30). Ещё ниже шли касты в узком смысле слова — метисы, мулаты, самбо и множество промежуточных категорий. Им закрывали дорогу в чиновники и офицеры, в университеты и в высшее духовенство, в некоторые ремесленные цехи. Они были ремесленниками, мелкими торговцами, управляющими и надсмотрщиками в поместьях, мелкими землевладельцами, солдатами и той городской беднотой, которую колониальные власти называли просто «плебе». Индейцы в этой шкале стояли отдельно, в своей республике, а рабы-африканцы — в самом низу.

Идея, стоявшая за этой лестницей, пришла из Испании. Там с XV века действовали статуты о «чистоте крови», закрывавшие доступ к должностям и орденам потомкам крещённых евреев и мусульман. В Америке эта идея получила новое содержание: «нечистой» стала считаться кровь индейская и особенно африканская. Происхождение записывали в церковных книгах при крещении, и от того, в какую книгу тебя внесли, зависело, сможешь ли ты стать священником, учиться в университете или жениться на ком хочешь. Чилийский антрополог Алехандро Липшюц в середине XX века придумал для этого порядка точное слово — «пигментократия», власть, распределённая по цвету кожи.

Но картины каст лгут в одном важном отношении: они изображают порядок как точный, а на деле он был подвижным. Историки, изучавшие приходские книги и судебные дела, показали, что один и тот же человек в разных документах мог быть записан по-разному — метисом при крещении, испанцем при женитьбе, если разбогател, индейцем, если это было выгодно. Место в иерархии определяла не одна кровь, а целое «качество»: богатство, занятие, одежда, язык, репутация семьи. В 1795 году корона даже установила цену, по которой состоятельный мулат мог купить себе грамоту, снимавшую с него «пятно» происхождения. Креольские элиты возмущались этим куда громче, чем самой системой: для них подвижность каст была угрозой. Мы предполагаем, что именно эта смесь жёсткой идеологии и подвижной практики объясняет, почему кастовый порядок пережил колонию. Официальные категории отменили в первые же годы независимости, но связь между цветом кожи, бедностью и местом в обществе сохранилась в Латинской Америке до наших дней.

Сибирская история, которую мы рассказывали в двух прошлых томах, тоже знает смешение. Смешанная Сибирь родилась вместе с русской: карымы и гураны Забайкалья, камчадалы, русскоустыинцы и марковцы, долганы как целый народ, сложившийся из смешения тунгусов, якутов и русских крестьян. Сибирь знала и неравенство, и насилие, из которого нередко рожда-

лись эти общности. Но различие в устройстве здесь существенное. Российская империя делила людей на сословия, а не на касты крови. Граница между «инородцем» и русским проходила прежде всего по вере, образу жизни и податному состоянию. Крещёный и осевший на пашню ясачный человек мог со временем оказаться записан в крестьяне, и в XVII веке новокрещёные даже на время освобождались от ясака — настолько, что власти стали опасаться за сборы. Этот путь тоже вёл к растворению, против которого мы выступали в «Коренной Сибири», но он был открыт через смену образа жизни, а не заперт происхождением. Сибирь не рисовала картин каст, и старожилов, как мы писали, не знали расового презрения в той форме, в какой его знала Америка. Мы предполагаем, что это одно из тех мест, где сравнение не просто хромает, а указывает на действительное различие.

Сибирь XVII–XIX веков тоже знала общество из трёх частей, и на первый взгляд оно поразительно похоже на колониальную Америку. Наверху стояли присланные из Москвы, а затем из Петербурга воеводы и чиновники — сибирские «пенинсуларес», которые приезжали на службу, распоряжались краем и уезжали. Ниже жили старожилов, потомки переселенцев, родившиеся в Сибири и считавшие её своей землёй, — почти точный аналог креолов. Ещё ниже, в особом положении, находились «инородцы», сибирский аналог республики индейцев: со своим самоуправлением, своими родовыми управками и своими обязанностями перед казной. У старожилов тоже было самоуправление, свой крестьянский «мир», и тоже были повинности. Но в этой похожей схеме есть одно различие, которое меняет всё. Сибирский «креол» не был помещиком. В Сибири вообще не было помещиков, и старожилов почти все были крестьянами. Государство их эксплуатировало, но во много раз слабее, чем помещик эксплуатировал крепостного в Центральной России, и отсюда родилась поговорка о Сибири как о вольной земле. Латиноамериканский креол был хозяином гасиенды, рудника и индейцев, работавших на них. Сибирский старожил сам пахал свою землю, а над ним стояло только далёкое начальство.

Из этого различия вытекает и разное отношение к смешению и к расе. Метис, родившийся в старожиловской семье, считался русским, потому что был православным, и никакого отдельного статуса для него не придумали: в Сибири не было ни кастисо, ни «волков», ни «койотов». Расовые теории о «вымирающих» народах, которым по законам природы будто бы суждено исчезнуть, в Сибири тоже были, но приходили они из Петербурга, из учёных и чиновничьих кабинетов. Сибирские областники с ними спорили. Григорий Потанин писал о том, что сибиряки и инородцы живут рядом и работают вместе, и видел в коренных народах людей высокой нравственности, с живыми традициями взаимопомощи, у которых самим сибирякам есть чему учиться. В Латинской Америке всё было наоборот: самыми ревностными стражами «чистоты крови» были как раз креолы, а корона иногда оказывалась гибче их, продавая мулатам грамоты об «очищении». Мы предполагаем, что именно здесь лежит одно из глубоких различий между креольской независимостью и сибирским областничеством. Креолы требовали свободы для элиты землевладельцев, которая боялась тех, кто стоял ниже. Областники говорили от имени крестьянского общества, у которого не было своих господ, и потому могли хотя бы вообразить союз с коренными народами, пусть этот союз, как мы писали в «Коренной Сибири», так и не сложился.

Для латиноамериканской истории у кастового порядка было одно последствие, которое окажется решающим. Креолы, стоявшие между испанцами и всеми остальными, презирали тех, кто был ниже их, и завидовали тем, кто был выше. Пока метрополия оставляла им землю, рудники и местную власть, они терпели свою вторую роль. Но во второй половине XVIII века Мадрид решил, что колонии должны приносить больше, а управляться строже, и начал реформы, которые ударили именно по креолам.

Реформы Бурбонов: метрополия закручивает гайки.

В 1700 году на испанский престол взошла французская династия Бурбонов, и к середине века в Мадриде созрело убеждение, что колониями управляли слишком небрежно. Американское серебро по-прежнему текло за океан, но значительная его часть оседала в карманах местных чиновников, креольских купцов и контрабандистов, а торговлю колоний понемногу забирали англичане. Король Карл III (1759–1788) и его министры решили навести порядок. Главным исполнителем стал Хосе де Гальвес, который в 1765–1771 годах объехал Новую Испанию в качестве генерального инспектора — «визитадора» — с чрезвычайными полномочиями, а затем десять лет управлял всеми американскими владениями в должности министра Индий. Британский историк Джон Линч назвал то, что он сделал, «вторым завоеванием Америки». Первое завоевание подчинило индейцев, второе должно было подчинить самих колонистов.

Реформы шли сразу в нескольких направлениях. Административно колонии перекроили: появились новые вице-королевства — Новая Гранада и в 1776 году Рио-де-ла-Плата со столицей в Буэнос-Айресе, куда передали и серебряный Потоси. Старых коррехидоров и алькальдов заменили интенданты — профессиональные чиновники по французскому образцу, подотчётные непосредственно Мадриду: двенадцать интендантств в Новой Испании, по восемь в Перу и на Ла-Плате, два в Чили (Альперович, Слёзкин, с. 24). Экономически метрополия одновременно ослабила и затянула узду. Систему ежегодных флотилий отменили, колонии получили право торговать между собой и с разными портами Испании, королевскую долю от добычи серебра снизили с пятой до десятой части, чтобы оживить рудники (с. 25). Но торговать с иностранцами по-прежнему запрещалось, а налоги стали собирать куда тщательнее: повысили алькабалу — налог с продаж, ввели казённые монополии на табак и водку, за сбором следили новые чиновники, которых нельзя было подкупить так легко, как старых. Доходы короны от Америки за несколько десятилетий выросли в разы.

Ударили реформы прежде всего по креолам. Раньше богатые креольские семьи покупали должности в местных судах-аудиенсиях и городских советах и фактически правили своими провинциями. Теперь Мадрид сознательно назначал на ключевые посты уроженцев Испании, и доля креолов в аудиенсиях за несколько десятилетий резко упала. Новые интенданты и сборщики налогов тоже были по большей части «пенинсуларес». В 1767 году из всех испанских владений изгнали орден иезуитов. Среди изгнанных было много креолов, и в европейской эмиграции некоторые из них превратились в первых идеологов американской самобытности. Мексиканский иезуит Франсиско Хавьер Клавихеро написал в Италии историю древней Мексики, защищая её от европейских учёных, считавших Америку континентом вырождения. Перуанский иезуит Хуан Пабло Вискардо-и-Гусман оставил «Письмо к американским испанцам», прямо призывавшее к отделению. В 1804 году, когда испанской казне отчаянно понадобились деньги на войну, корона приказала изъять церковные капиталы, которые в Мексике служили главным источником кредита для землевладельцев. Многие креольские хозяева гасиенд оказались на грани разорения. Мы предполагаем, что именно это последнее, почти случайное распоряжение сделало для мексиканской независимости больше, чем все книги Просвещения.

Налоговый пресс ложился, однако, не только на креолов. Интенданты, монополии и новые сборы добрались до мелких торговцев, ремесленников, метисов и индейцев. В Андах коррехидоры, которым в середине века официально разрешили принудительно продавать индейцам товары, превратили эту продажу в самый ненавистный побор колонии. В 1765 году против новой водочной монополии восстали кварталы Кито. В 1781 году в Новой Гранаде поднялось движение «комунерос» — десятки тысяч крестьян, ремесленников и мелких торговцев, недовольных новыми налогами, дошли почти до Боготы и вынудили власти подписать уступки, от которых те отказались, как только опасность миновала. А за год до этого, в 1780

году, в Андах началось восстание, которое превзошло всё, что колония видела за два с половиной века.

Сибирский читатель узнает в этой истории знакомый сюжет, хотя и в другой тональности. Центр время от времени обнаруживал, что далёкий край управляется не так, как ему хочется, и присылал ревизора с чрезвычайными полномочиями. В 1721 году первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина повесили в Петербурге за казнокрадство. Ровно через сто лет, в 1819–1821 годах, Михаил Сперанский провёл свою ревизию Сибири, отдал под суд сотни чиновников и составил новые уставы, в том числе Устав об управлении инородцев, о котором мы подробно писали во втором томе. Но различие между Гальвесом и Сперанским поучительно. Гальвес приезжал, чтобы собрать больше, и ударил по местной элите, которая привыкла править сама. Сперанский приезжал, чтобы обуздать самих имперских чиновников, и в Сибири не было креольской элиты, которую можно было бы обидеть: были крестьяне-старожилы и инородцы, для которых ревизия означала скорее защиту от произвола, пусть и ограниченную. Поэтому сибирская реакция на реформы центра не превратилась в заговор землевладельцев. Сибирское самосознание созрело позже и другим путём — через университетский вопрос, печать и кружок молодых областников 1860-х годов. Американская реакция оказалась взрывной, и первыми взорвались не креолы, а те, кто стоял на самом дне колониального порядка.

.4.

Тупак Амару II и Тупак Катари (1780–1782): индейская альтернатива, проигравшая ещё до независимости.

Хосе Габриэль Кондорканки был курака трёх селений в провинции Тинта, к югу от Куско, и по всем меркам колониального общества — человек преуспевающий. Он учился в иезуитской коллегии для детей индейской знати в Куско, говорил и писал по-испански и на кечуа, держал караваны мулов, которые возили товары между Куско, Потоси и побережьем. Он считал себя прямым потомком Тупака Амару, последнего инки Вилькабамбы, которого испанцы казнили в 1572 году, и годами судился в Лиме, добиваясь признания этого родства. Он же ходатайствовал перед властями об освобождении своих людей от миты, которая опустошала его провинцию. Если кто-то в колониальных Андах и знал, как работает система двух республик изнутри, то это был именно он: посредник, которому полагалось собирать с общины подати и отправлять её мужчин в Потоси.

4 ноября 1780 года Кондорканки захватил коррехидора своей провинции Антонио де Арриагу, известного своими поборами, и через несколько дней казнил его на площади селения Тунгасука. Тогда же он принял имя Тупак Амару и объявил об отмене миты, принудительной продажи товаров, алькабалы и таможен. Вскоре он издал указ об освобождении рабов (Галеано, с. 77). Галеано пишет, что тысячи индейцев вливались в войско «отца всех бедных, униженных и незащищенных». 18 ноября восставшие разбили испанский отряд при Сангараре, и восстание за несколько недель охватило южные Анды от Куско до озера Титикака. Но взять Куско Тупак Амару не сумел. Город, где жили испанцы, креолы и значительная часть индейской знати, выстоял, а многие курака, соперники Кондорканки, привели своих людей на сторону короны. В апреле 1781 года его предал один из собственных офицеров. На допросе, если верить преданию, которое приводит Галеано, он ответил следователю, требовавшему назвать сообщников: «Здесь только два сообщника — ты да я; оба мы заслужили смерть: ты — за то, что угнетал, я — за то, что освобождал» (с. 77). 18 мая 1781 года на главной площади Куско ему отрезали язык и попытались разорвать его тело четырьмя лошадьми, а когда это не удалось, обезглавили. Перед этим у него на глазах казнили его жену Микаэлу Бастидас, одного из самых решительных руководителей восстания, и старшего сына.

С гибелью вождя восстание не кончилось, а перешло в новую фазу и сместилось на юг, к народу аймара. Там его возглавил человек совсем другого рода — Хулиан Апаса, простой общинник и мелкий торговец, не курака и не потомок инков. Он взял имя Тупак Катари, соединив имена двух героев сопротивления. В марте 1781 года армия аймара окружила Ла-Пас и держала город в осаде в общей сложности около полугода. Рядом с Катари воевали его жена Бартолина Сиса и сестра Грегория Апасы. Осаждённые умирали от голода тысячами. В ноябре 1781 года Тупака Катари тоже предали, и его, как и Тупака Амару, разорвали лошадьми. Родственники Тупака Амару продолжали борьбу до 1782 года, приняли амнистию и затем всё равно были казнены или сосланы. Общее число погибших за два года восстаний историки оценивают в десятки тысяч, а по некоторым подсчётам — до ста тысяч человек, и большинство из них были индейцами.

О характере этого восстания спорят до сих пор, и спор этот важен для нашей темы. Тупак Амару вначале говорил от имени короля — «да здравствует король, смерть дурному правительству!» — и звал к союзу креолов, метисов и индейцев против коррехидоров и испанских чиновников. Советский учебник утверждает, что он «объявил о восстановлении инкского государства» (Альперович, Слёзкин, с. 33), но историки спорят о том, насколько такие притязания принадлежали ему самому, а насколько были приписаны ему следствием. Движение Тупака Катари было радикальнее и откровеннее направлено против всех, кто не принадлежал к миру общины: креолов, метисов, говоривших по-испански. В его ходе было пролито немало крови мирных жителей. Мы не станем изображать восставших безупречными — это была война, и страшная. Но и уравнивать жестокость восставших с жестокостью подавления нельзя: одни мстили за два с половиной века миты, другие защищали порядок, который эту миту установил. Главное, что показали 1780–1782 годы, — это то, что индейская альтернатива колониальному порядку существовала. Она была разной, от реформистской монархии под властью «хорошего короля» до общинной войны против всех господ, но это была альтернатива, выросшая из самих Анд.

Последствия восстания определили весь следующий век. Корона сделала выводы: отменила принудительную продажу товаров, заменила коррехидоров интендантами и их помощниками, во многих местах упразднила наследственную власть курака, запретила носить инкскую одежду, ставить пьесы о прошлом инков и держать их портреты и даже «Подлинные комментарии инков» Гарсиласо де ла Веги. Но ещё более важные выводы сделали креолы. Они увидели, что может случиться, если индейское большинство поднимется само. Когда через тридцать лет по континенту пошли войны за независимость, Перу, где помнили осаду Куско и Ла-Паса, стало главной опорой испанской власти, и освобождать его пришлось армиям, пришедшим извне, из Аргентины и Колумбии. Страх перед индейцем оказался сильнее обиды на Мадрид. Мы предполагаем, что именно здесь лежит ключ к характеру креольской независимости: она была задумана как революция, которая не должна пустить индейца в дверь.

В то же самое десятилетие другая империя пережила восстание, похожее на андское больше, чем кажется. В 1773–1775 годах по Уралу и Поволжью прошла пугачёвщина: казак, выдававший себя за законного государя Петра III, поднял казаков, башкир, приписных крестьян уральских заводов и заводских работных людей, и восстание дошло до Зауралья. Как и Тупак Амару, Пугачёв говорил от имени «добротого царя» против дурных начальников, и его тоже казнили на площади так, чтобы запомнили все. Но в сибирской истории, которую мы рассказывали в двух прошлых томах, восстания коренных народов — ясачные бунты XVII века, Камчатские восстания, чукотская война, позднее Казымское восстание — всегда оставались восстаниями меньшинства на окраине, без надежды взять губернский город и без претендента на корону. Андские народы в 1780 году были большинством у себя дома, и память о собственном государстве у них была жива. Это различие, о котором мы писали во введении, здесь видно особенно ясно: сибирские народы могли отстоять себя, уйдя, договорившись или

переждав, андские могли всерьёз надеяться перевернуть порядок. Через два столетия, в 1970-е годы, боливийские аймара назовут своё политическое движение катаризмом в честь Тупака Катари, а в 1969 году перуанский генерал Веласко, проводя аграрную реформу, повторит приписываемые Тупаку Амару слова: «Крестьянин! Хозяин не будет больше богатеть за счёт твоей бедности!» (Галеано, с. 78). Но прежде чем эти имена вернуться, произойдёт ещё одна революция, в которой восстали уже не индейцы, а рабы, и она напугает креолов ещё сильнее.

1.5. Гаити: революция рабов и страх креолов

В конце XVIII века самой богатой колонией мира была не Мексика и не Перу, а французская часть острова Эспаньола — Сан-Доминго. На территории меньше современной Бельгии полмиллиона рабов возделывали земли четырёх-пяти тысяч плантаторов (Альперович, Слёзкин, с. 35). Сан-Доминго давало огромную долю сахара и кофе, потреблявшихся в Европе, и на его доходах поднялись порты Бордо и Нанта. Общество колонии было устроено как ещё более жёсткая версия кастового порядка: наверху «большие белые» — плантаторы и купцы, ниже «маленькие белые» — надсмотрщики, лавочники, ремесленники, ещё ниже свободные мулаты и негры, которых было почти столько же, сколько белых, и которые владели изрядной частью земли и даже рабов, но не имели политических прав. А на самом дне — рабы, умиравшие на плантациях так быстро, что их число поддерживалось только новыми кораблями из Африки.

Французская революция, провозгласившая свободу и равенство, взорвала этот мир с нескольких сторон сразу. Плантаторы требовали самоуправления, чтобы Париж не вмешивался в их дела. Свободные мулаты требовали равных прав. А в ночь на 22 августа 1791 года в Северной провинции поднялись рабы. Восстание, которому предшествовала, по преданию, ночная церемония вуду в лесу Буа-Кайман, за несколько дней охватило сотни плантаций. Его вожди сменяли друг друга, пока во главе не встал Туссен Лувертьюр, бывший раб с плантации Бреда, выучившийся грамоте и читавший, говорят, аббата Рейналя. Дальше последовало десятилетие, которое трудно пересказать коротко: войны с испанцами и англичанами, союз с революционной Францией, которая в 1794 году отменила рабство во всех своих колониях, гражданская война с мулатами Юга. К 1801 году Туссен управлял всем островом, включая бывшую испанскую часть, где он тоже отменил рабство, и дал колонии конституцию, объявившую его пожизненным правителем.

Здесь история Гаити впервые ставит перед нами вопрос, который будет преследовать всю книгу. Бывшие рабы хотели земли — своего клочка, своего огорода, своего хозяйства, где никто не стоит над ними с кнутом. Но государству, которое они построили, нужны были деньги на армию, способную защитить их свободу, а деньги давали только сахар и кофе, то есть плантации. И Туссен выбрал плантации. Регламент 1800 года запретил земледельцам покидать свои плантации, конституция 1801 года подтвердила этот запрет и запретила продавать государственную землю участками меньше пятидесяти акров, чтобы бывшие рабы не превратились в мелких крестьян (Альперович, Слёзкин, с. 40). Кнут отменили, телесные наказания запретили, за управляющими следили комиссары, но работник снова оказался привязан к плантации. Советский учебник оправдывает эту политику тем, что «во имя окончательного упрочения добытой свободы необходимо было поддерживать плантационное хозяйство, несколько ограничивая свободу деятельности бывших рабов» (с. 41). Эта формула нам хорошо знакома. Ею же в XX веке объясняли, почему крестьянину нельзя уйти из колхоза, а оленеводу — из совхоза. Первое государство, созданное восставшими рабами Америки, решило проблему ренты тем, что снова прикрепило людей к источнику ренты. Мы не судим Туссена за это слишком легко: он действительно был окружён врагами, и через год на остров высадилась армия Наполеона. Но мы отмечаем, что противоречие между свободой людей и доходом государства возникло здесь в самой чистой форме и в самом начале.

Наполеон, ознакомившись с конституцией Туссена, будто бы воскликнул: «Негры должны быть подчинены!» (с. 41). В 1802 году на остров высадилась экспедиция генерала Леклерка с задачей восстановить прежний порядок. Туссена заманили на переговоры, арестовали и отправили во Францию, где он умер в холодной горной крепости Жу весной 1803 года. Но когда стало известно, что на соседних французских островах рабство уже восстановлено, остров поднялся снова. Жёлтая лихорадка и партизанская война уничтожили французскую армию. «Они не отступают, и когда они идут на смерть, они поют», — писал Леклерк Наполеону (с. 42). 1 января 1804 года генерал Жан-Жак Дессалин провозгласил независимость и вернул острову индейское имя — Гаити. Первыми месяцами новой республики стали расправы над оставшимися французами, и об этом тоже нужно сказать прямо, не отводя глаз, хотя и помня, после чего они случились.

Независимость Гаити дорого стоила ей самой. Ни одна держава не признавала новое государство. В 1825 году Франция под угрозой флота заставила Гаити заплатить за признание огромную компенсацию бывшим плантаторам — за утраченную землю и утраченных рабов, то есть, по сути, за собственную свободу. Этот долг Гаити выплачивала больше ста лет. Соединённые Штаты признали Гаити только в 1862 году, в разгар собственной гражданской войны. Нам важно и другое. В 1815–1816 годах гаитянский президент Александр Петийон дал Симону Боливару, бежавшему после поражения, корабли, оружие и людей, попросив взамен лишь одного — освободить рабов в тех землях, которые Боливар освободит. Через десять лет, созывая в Панама конгресс новых американских республик, Боливар Гаити не пригласил.

Для креолов всего континента Гаити стало кошмаром. Слово «гаитянина» вошло в политический язык как обозначение того, что будет, если чёрные и цветные поднимутся сами. Куба, где сахарные плантации заняли освободившееся на мировом рынке место Сан-Доминго, осталась испанской почти до конца XIX века: её плантаторы предпочитали власть Мадрида риску повторить судьбу соседей. Бразилия отменила рабство последней в Америке, в 1888 году. Вместе с восстанием Тупака Амару гаитянская революция очертила для креолов границы допустимого: независимость — да, если она останется делом белых и богатых. Сибирь не знала ни плантаций, ни плантационного рабства, и прямой параллели здесь нет. Но вопрос, который Туссен решил в пользу плантации, в Сибири решался много раз и почти всегда одинаково — в пользу рудника, завода и казны, а не в пользу людей, которые хотели бы жить на своей земле по-своему. Колониальный порядок в Америке к 1808 году держался на трёх страхах: страхе метрополии перед креолами, страхе креолов перед индейцами и страхе всех белых перед рабами. В 1808 году армия Наполеона вошла в Испанию, король был низложен, и порядок, державшийся на этих страхах, лишился своей вершины.

Глава 2. Креольская революция (1810–1826)

2.1. Идальго и Морелос: восстание снизу, которое креолы испугались и задавили

В 1808 году Наполеон вынудил испанских королей Карла IV и Фердинанда VII отречься от престола и посадил в Мадриде своего брата Жозефа. Для Америки это означало вопрос, на который никто не был готов ответить: кому теперь принадлежит власть, если законного короля нет? В Испании против французов поднялись провинциальные хунты, правившие от имени пленного Фердинанда. В Америке креолы рассудили так же: раз король в плену, власть возвращается к народу, а народом в колониях были, разумеется, они сами, городские советы богатых креольских семей. В Мехико городской совет в 1808 году предложил создать собственную хунту, и вице-король Итурригарай был готов согласиться. Тогда испанские купцы столицы, опасаясь потерять власть, той же осенью устроили переворот, арестовали вице-короля и отправили в тюрьму креольских советников. Креолы Новой Испании убедились, что законным путём автономии им не получить. Часть из них ушла в заговоры.

Один из таких заговоров сложился в городе Керетаро. Среди его участников были креольские офицеры местной милиции Игнасио Альенде и Хуан Альдама, жена коррехидора Хосефа Ортис де Домингес и приходский священник городка Долорес Мигель Идальго — креол пятидесяти семи лет, бывший ректор коллегии в Вальядолиде, читатель французских книг, которого уже однажды разбирали инквизиция. В своём приходе он учил индейцев гончарному делу, выделке кож, разведению шелковичных червей и виноградарству, хотя последние два занятия были для колонии запрещены. В сентябре 1810 года заговор раскрыли, и Идальго решил не ждать. Ранним утром 16 сентября он ударил в церковный колокол, собрал прихожан и призвал их к восстанию. Что именно он сказал, точно не известно. По одной версии, его клич был «Да здравствует Дева Гуадалупская! Смерть дурному правительству! Смерть гачупинам!» — так презрительно называли уроженцев Испании. Галеано приводит другие слова: «Поднимайтесь и отберите у ненавистных испанцев земли, украденные у ваших предков триста лет назад!» (Галеано, с. 78). Вместо знамени Идальго поднял образ Девы Марии Гуадалупской — тёмнокожей Богородицы, явившейся, по преданию, индейцу.

Дальше произошло то, чего заговорщики не планировали. За полтора месяца за Идальго пошли около восьмидесяти тысяч человек, вооружённых мачете, пиками, пращами и луками (с. 79; Альперович, Слёзкин, с. 61). Это были не креольские офицеры, а индейцы общин, метисы-батраки с гасиенд, рудокопы Гуанахуато. 28 сентября 1810 года восставшие взяли Гуанахуато, где испанцы и богатые креолы укрылись в огромном каменном зернохранилище — Алондиге-де-Гранадитас. Их перебили почти всех, а город разграбили. Для креолов Новой Испании этот день стал тем же, чем осада Ла-Паса для креолов Перу: доказательством того, что поднявшаяся масса не будет разбирать, где испанец, а где креол. Идальго между тем делал то, о чём индейские общины просили три века. В Гуадалахаре в конце 1810 года он объявил отмену рабства и индейской подати и распорядился вернуть общинам их земли, запретив сдавать их в аренду. В конце октября его армия разбила королевские войска у Монте-де-лас-Крусес, и дорога на Мехико была открыта. Но Идальго не пошёл на столицу, а повернул назад. Почему — спорят до сих пор: то ли он не был уверен в своих силах, то ли боялся повторения Гуанахуато в огромном городе. В январе 1811 года у моста Кальдерон королевская армия генерала Кальехи разгромила восставших. В марте Идальго и Альенде предали и схватили, в июле расстреляли, а их головы десять лет висели в железных клетках на углах той самой Алондиги.

Королевская армия, разбившая Идальго, состояла не из испанцев. Её офицеры были по большей части креолами, а солдаты — метисами и индейцами. Креольская Новая Испания, которая два года назад мечтала об автономии, увидела, кто на самом деле может прийти к власти, и выбрала корону. Этот выбор и есть то, о чём мы говорили, описывая касты: элита землевладельцев, стоявшая между испанцами и всеми остальными, при первой же угрозе снизу встала на сторону тех, кто был выше.

После гибели Идальго восстание возглавил другой священник, Хосе Мария Морелос — сын плотника, в юности погонщик мулов, метис, среди предков которого, как полагают, были и африканцы (Альперович, Слёзкин, с. 61). Морелос был не проповедником, а военным организатором: вместо огромной толпы он создал небольшую дисциплинированную армию и несколько лет контролировал значительную часть юга страны. В 1813 году в городке Чильпансинго он собрал конгресс и представил ему документ под названием «Чувства нации». В нём говорилось, что Америка свободна и независима, что рабство и кастовые различия отменяются навсегда, «так что все будут равны, и одного американца от другого будет отличать только порок и добродетель», что законы должны умерять богатство и бедность, а подати с индейцев отменяются. Галеано приводит ещё более резкие слова, приписываемые Морелосу: «Считать врагами всех богачей, всю знать и высших чиновников...» (Галеано, с. 79). Советские историки пишут, что Морелос ставил вопрос о ликвидации латифундий и конфискации имущества богачей и церкви (Альперович, Слёзкин, с. 62). В 1814 году конгресс принял в Апацингане первую мексиканскую конституцию — республиканскую, с равенством граждан, свободой слова и печати. Но в ноябре 1815 года Морелоса взяли в плен, и в декабре его расстреляли. Восстание распалось на отряды партизан, которые продолжали воевать в горах юга под командованием Висенте Герреро.

Независимость Мексике принесли не они. В 1820 году в самой Испании восстали войска, и король был вынужден восстановить либеральную конституцию 1812 года. Мексиканская церковь и креольская верхушка испугались, что испанские либералы отнимут у них привилегии, и решили, что безопаснее отделиться от Испании. Их орудием стал Агустин де Итурбиде, креольский офицер, прославившийся жестокостью в войне против Идальго и Морелоса. В феврале 1821 года он провозгласил «план Игуалы» — независимость, католичество как единственная религия и «союз» всех жителей, — договорился с Герреро и через несколько месяцев без серьёзных боёв вошёл в Мехико. Независимость была провозглашена 28 сентября 1821 года, а в мае 1822 года Итурбиде короновался императором Агустином I (Альперович, Слёзкин, с. 71). Галеано, ссылаясь на американского журналиста Эрнеста Грюнинга, называет её точно: независимость Мексики «имела, по существу, характер сделки между испанцами-европейцами и теми, что родились в Америке... она стала результатом политической борьбы внутри правящего класса» (Галеано, с. 79). Мексика стала независимой, но не тем путём, которым её хотели освободить Идальго и Морелос, а тем, которым её освободили их палачи. Так впервые сложился сюжет, который мы увидим ещё много раз: революцию начинают снизу, а заканчивают сверху. На юге континента война за независимость шла иначе, и вели её другие люди, но и там вопрос о том, чья это будет свобода, встал сразу.

2.2. Боливар и Сан-Мартин: освободители и их Америка

В Южной Америке война за независимость началась так же, как в Мексике: в 1810 году креольские городские советы Каракаса, Буэнос-Айреса, Боготы и Сантьяго создали хунты, правившие поначалу от имени пленного короля. Но дальше история пошла иначе. Здесь не было своего Идальго, который поднял бы индейские общины, и войну с самого начала вели креольские офицеры, юристы и купцы. Двое из них стали символами всего движения. Симон Боливар, сын одной из богатейших семей Каракаса, владевшей плантациями какао, рудниками и

сотнями рабов, получил образование в Европе и, по легенде, в 1805 году поклялся на римском холме Монте-Сакро освободить свою родину. Хосе де Сан-Мартин, сын испанского чиновника, родившийся на границе Аргентины и Парагвая, двадцать лет прослужил в испанской армии, воевал против Наполеона и в 1812 году вернулся в Буэнос-Айрес, чтобы воевать против Испании. Оба были креолами, оба — людьми Просвещения, оба искренне хотели освободить Америку. Вопрос в том, какую Америку и для кого.

Первые годы показали, что креольская республика может проиграть не только испанцам, но и собственному народу. Первая и вторая Венесуэльские республики пали, и вторую в 1814 году уничтожили не столько королевские войска, сколько армия Хосе Томаса Бовеса — бывшего испанского моряка и торговца скотом, который поднял против креолов пастухов-льянеро из степей Ориноко, мулатов и рабов. Бовес обещал им землю и скот креольских помещиков и свободу рабам, и они пошли за королём против республики своих господ. Война стала расовой и беспощадной с обеих сторон: ещё в 1813 году Боливар издал декрет о «войне насмерть», обещавший смерть всякому испанцу, не перешедшему на сторону республики. Показательно, как описывает эти события советский учебник: войско Бовеса — это «банды» и «орды», а льянеро — «полудикие пастухи», «обманутые демагогическими обещаниями роялистов» (Альперович, Слёзкин, с. 54). Даже марксистские историки, когда речь шла о простых людях, поднявшихся против креолов, смотрели на них глазами креолов.

Боливар извлёк из поражения урок. Он понял, что без льянеро, рабов и цветных войну не выиграть, и в 1816–1817 годах издал декреты об освобождении рабов, вступающих в армию, и о наделении солдат землёй из конфискованных имений испанцев и роялистов (с. 63). Помог ему и гаитянский президент Петитон, о котором шла речь в предыдущей главе. Льянеро во главе с Хосе Антонио Паэсом перешли на сторону республики, и с этого момента война пошла к победе: переход через Анды и битва при Бояке в 1819 году, Карабобо в 1821-м, Пичинча в 1822-м. Но обещание земли солдатам обернулось характерным образом. Солдатам выдавали не землю, а бумаги на право получить её, а бедные солдаты продавали эти бумаги за бесценок своим командирам. Паэс, неграмотный пастух, стал одним из крупнейших землевладельцев Венесуэлы, а затем и её президентом. Земля, отнятая у испанских помещиков, досталась новым, креольским и военным.

Сан-Мартин тем временем совершил поход, который до сих пор считается одной из самых смелых военных операций в истории: в начале 1817 года его армия перешла Анды, разбила испанцев при Чакабуко и освободила Чили, а в 1821 году на кораблях высадились в Перу и вошла в Лиму. Там, став «протектором» Перу, Сан-Мартин издал декреты, которые мы должны запомнить: дети рабов, рождённые после провозглашения независимости, объявлялись свободными, принудительная трудовая повинность индейцев отменялась, а сами индейцы впредь должны были называться не индейцами, а перуанцами (с. 68). На бумаге это была отмена колониального порядка. На деле перуанская креольская элита, хорошо помнившая Тупака Амару, отнеслась к освобождению без энтузиазма, а индейская подать под новым названием вскоре вернулась и продержалась в Перу и Боливии ещё десятилетия. Сам Сан-Мартин считал, что освобождённым странам лучше всего подойдёт конституционная монархия с европейским принцем во главе. В июле 1822 года он встретился с Боливаром в Гуаякиле. О чём они говорили наедине, не знает никто. После встречи Сан-Мартин сложил полномочия, уехал в Европу и умер во Франции почти через тридцать лет, ни разу больше не вмешавшись в американскую политику. Добивал испанцев в Перу Боливар со своим генералом Антонио Хосе де Сукре, и 9 декабря 1824 года при Аякучо последняя большая королевская армия капитулировала.

Боливар мечтал о большем, чем независимость отдельных республик. В «Письме с Ямайки» 1815 года он писал, что жители испанской Америки — «ни индейцы, ни европейцы, а нечто среднее между законными владельцами страны и испанскими узурпаторами». Эта формула точна и тревожна: «законными владельцами» он называл индейцев, а себя и своих

товарищей ставил между ними и испанцами, то есть фактически признавал, что креолы — наследники узурпации. Он мечтал о союзе освобождённых республик, о Великой Колумбии от Венесуэлы до Эквадора и о конфедерации всего континента. Но государство он представлял себе сильным и централизованным: пожизненный президент, наследственный сенат, мудрые законодатели, которые будут воспитывать неподготовленный народ. Больше всего он боялся «пардократии» — власти цветных. В 1817 году по его приказу расстреляли генерала Мануэля Пиара, мулата и одного из лучших командиров республики, обвинённого в том, что он разжигает войну цветных против белых. В 1828 году та же участь постигла адмирала Хосе Падилью, тоже пардо. Республики, которые Боливар освободил, отказывались жить так, как он задумал. Великая Колумбия распалась ещё при его жизни, а на Панамский конгресс 1826 года, призванный объединить континент, приехали делегаты лишь нескольких стран. Незадолго до смерти, в 1830 году, Боливар написал горькие слова: «Тот, кто служит революции, пашет море».

Сибирский читатель может увидеть в Боливаре областника, выигравшего войну, но точнее здесь не сходство, а противоположность. Областники тоже были образованным меньшинством, говорившим от имени края. Однако Потанин настаивал, что сибирская интеллигенция вышла из сибирского крестьянства и должна ему служить. Поэтому областники добивались сибирского университета и стипендий для крестьянских детей: круг образованных старожилов должен был расширяться снизу, и на этой основе предполагалось строить современную Сибирь. Боливар смотрел на народ иначе — как на неподготовленную массу, которую должны воспитывать сверху пожизненный президент и наследственный сенат, а цветных генералов, претендовавших на свою долю власти, он отдавал под расстрел. Мы предполагаем, что разница объясняется тем же, о чём шла речь в параграфе о кастах: за областниками стояло крестьянское общество без господ, из которого вышли они сами, за Боливаром — элита плантаторов, боявшаяся тех, кто ниже. Армии Боливара и Сан-Мартина состояли из льянеро, рабов, метисов и индейцев, а государство, которое они построили, принадлежало креолам. Главный вопрос, который остался после них, стоит задать прямо: на чьей стороне в этой войне были сами индейцы, во имя которых Боливар называл испанцев узурпаторами?

2.3. Индейцы в войне за независимость: на чьей стороне и почему

В школьных учебниках многих латиноамериканских стран война за независимость выглядит как восстание народов Америки против испанского гнёта. Индейцы в этой картине стоят на стороне освободителей — ведь именно их, «законных владельцев страны», по словам Боливара, ограбили испанцы. Действительность была сложнее и для нашей темы гораздо интереснее. Индейцы воевали на обеих сторонах, и во многих местах — с удивительным упорством на стороне короля. Город Пасто на юге нынешней Колумбии, населённый индейцами и метисами, стал самым непримиримым оплотом роялистов на всём севере континента. Его ополчение под командованием Агустина Агуалонго, метиса индейского происхождения, воевало против Боливара и после того, как испанская армия капитулировала, и Агуалонго был расстрелян только в 1824 году. В Перу индейцы и погонщики мулов провинции Ванта, так называемые икичанос, подняли восстание за короля в 1825 году, уже после Аякучо, и продержались до 1828 года. В Чили многие группы мапуче, которые за три века так и не покорились испанцам, в войне за независимость воевали против республики, и на юге страны «война насмерть» с участием роялистских отрядов и мапуче тянулась до начала 1830-х годов.

Почему люди, которых корона триста лет облагала трибуто и гнала на миту, защищали её против креолов? Ответ становится понятен, если вспомнить, как была устроена республика индейцев. Корона была далеко, а её законы, при всей их лицемерности, давали общине хоть какую-то защиту: общинная земля, свои алькальды, право судиться, отдельный суд. Кре-

олы же были близко. Это были те самые хозяева гасиенд, которые зарились на общинные земли, торговцы, ростовщики и местные чиновники, с которыми индейцы вели тяжбы поколениями. Победа креолов означала не освобождение от далёкого короля, а власть ближайших соседей-господ, уже ничем не сдерживаемую. Британский историк Тристан Платт, изучавший андские общины Боливии, назвал отношения между общиной и колониальным государством «пактом взаимности»: община платила подать и выставляла людей на работы, а государство в ответ гарантировало ей землю. Индейцы защищали не испанского короля как такового, а этот пакт, который, как они хорошо понимали, республика собиралась разорвать.

Была и другая причина, о которой редко помнят. В 1810–1814 годах, пока шла война, в самой Испании действовали кортесы, заседавшие в Кадисе, — парламент, в котором были и депутаты от Америки. Они приняли либеральную конституцию 1812 года (Альперович, Слёзкин, с. 62), которая провозгласила индейцев полноправными гражданами монархии, а ещё раньше отменили индейскую подать, а затем и миту. Получилось так, что первые законы, отменявшие трибuto, пришли к индейцам не от креольских хунт, а из Испании. В некоторых областях Перу и Мексики индейские общины в 1812–1814 годах впервые выбирали собственные городские советы по кадисской конституции. Когда в 1814 году вернувшийся на трон Фердинанд VII отменил конституцию и восстановил подать, это обернулось новыми восстаниями — и в 1814 году в Куско восстал старый курака Матео Пумакагуа, который в 1781 году воевал против Тупака Амару, а теперь поднял индейцев уже против испанских властей. Его разбили и казнили в 1815 году. Сам выбор Пумакагуа — против Тупака Амару в 1781-м, против испанцев в 1814-м — лучше любой схемы показывает, что индейцы выбирали не «короля» или «независимость», а то, что в данный момент сулило общине больше.

Индейцы воевали и на стороне независимости. В Верхнем Перу, нынешней Боливии, в 1810–1825 годах существовали так называемые «республикетас» — маленькие партизанские республики в горах и долинах, которые годами держались против испанских армий. Одной из самых известных командовала Хуана Асурдуй, метиска, говорившая на кечуа и аймара, вместе с мужем Мануэлем Асенсио Падильей. Их отряды в значительной мере состояли из индейцев. Падилья погиб, Асурдуй потеряла четверых из пятерых детей, и после войны республика, которую она защищала, о ней забыла: она умерла в нищете в 1862 году, и только в XXI веке ей посмертно присвоили генеральские звания в Аргентине и Боливии. Судьба «республикетас» показательна: они вынесли на себе основную тяжесть войны в Андах, но новая Боливия, созданная в 1825 году, была построена не ими, а армией Сукре и креольскими юристами Чукисаки.

Итог войны для индейцев был двойственным. Формально их объявили гражданами, отменили миту и подать, запретили называть их индейцами. На деле, как мы уже видели на примере Перу, подать под новым названием «контрибусьон индихеналь» вернулась уже через несколько лет и в Боливии ещё долго оставалась главной статьёй доходов государства. Республика нуждалась в деньгах не меньше, чем корона, а взять их, кроме как с индейцев, было не у кого. Иными словами, пакт взаимности на время сохранился — но только та его половина, где индейцы платили. Вторую половину, гарантию общинной земли, республиканские либералы скоро начнут разрушать во имя равенства и свободы собственности.

Сибирский читатель найдёт здесь знакомую логику. В «Коренной Сибири» мы писали, как ясачные люди слали челобитные царю на воевод и купцов, и как далёкая власть порой оказывалась защитой от близкой. Потанин высоко ставил Сперанского — петербургского сановника, — потому что тот обуздывал сибирский произвол. Для тех, кто стоит внизу, далёкий центр нередко выглядит меньшим злом, чем местные господа, и это наблюдение неудобно для любой теории деколонизации, которая сводит дело к борьбе «колонии» против «метрополии». Колониальный порядок в Америке держался не только на далёком короле, но и на местных хозяевах, и, когда король ушёл, хозяева остались. Боливар понял это раньше многих и попы-

тался что-то изменить своими указами об индейской земле, но благие намерения освободителя обернулись для общин тем, чего они больше всего боялись.

2.4. Указы Боливара об общинных землях: равенство, отнявшее защиту

8 апреля 1824 года, в разгар последней кампании против испанцев в Перу, Боливар подписал в городе Трухильо декрет, который выглядел как исполнение давнего долга перед индейцами. Земли, которыми пользовались индейские общины, объявлялись собственностью самих индейцев, и каждая семья должна была получить свой участок в полное владение. Через год, в июле 1825 года, в Куско, бывшей столице инков, Боливар подтвердил и развил эти меры: запретил принуждать индейцев к личным услугам в пользу чиновников, священников и помещиков, отменил власть наследственных касиков и снова потребовал раздела общинных земель между семьями. Логика была прозрачной и вполне либеральной. Индейцы — свободные граждане республики, равные всем остальным. Свободный гражданин должен быть собственником, а не членом общины под опекой короны. Следовательно, общину нужно превратить в собрание мелких частных владельцев, каждый из которых сам будет распоряжаться своей землёй.

Боливар не был наивен и понимал, чем это грозит. В декрете из Куско было оговорено, что индейцы не смогут продавать полученную землю до 1850 года, — освободитель боялся, что иначе её быстро скупят соседи. Но уже в 1828 году перуанский конгресс эту оговорку фактически снял, объявив индейцев полными собственниками своих участков с правом отчуждения. Последствия оказались именно такими, каких опасались. Индеец, получивший клочок земли в личную собственность, оставался неграмотным, не знал испанского права, нуждался в деньгах на подать, на праздник, на похороны, на тяжбу. Его участок можно было купить за долги, взять в залог, отсудить через подставного свидетеля или просто занять, а потом оформить. Пока земля принадлежала общине, её нельзя было продать по частям: чтобы отнять её, нужно было победить всю общину в суде. Когда земля стала частной, отнимать её стало можно по кусочку, у каждого поодиночке. Отмена власти касиков, задуманная как удар по колониальным посредникам, одновременно лишила общины их представителей перед властью. Касик был плохим защитником, но другого у общины не было.

Мариатеги, разбирая столетие спустя аграрную политику перуанской республики, сформулировал это с горькой точностью: либеральный характер законов республики, бессильный покончить с феодализмом, «лишил общину даже той формальной защиты, которую предусматривали законы испанского абсолютизма во времена колонии» (Мариатеги, с. 105). Республика провозгласила раздел земли, но латифундий не тронула. «И хотя в качестве компенсации новые законы предусматривали передачу земель индейцам, тем не менее во имя тех же либеральных постулатов именно община подверглась ударам со стороны государства. Так был создан новый режим, при котором, несмотря на все его принципы, положение индейцев не только не улучшилось, но даже еще более ухудшилось» (с. 107–108). Мариатеги не винил в этом саму либеральную идею: при последовательном применении, писал он, она должна была бы покончить с феодальным землевладением и превратить индейцев в мелких собственников. Беда была в том, что применялась она в стране, где у власти осталась землевладельческая аристократия. Равенство перед законом в обществе, где одни владели гасиендами, а другие клочками, означало равное право сильного отнять у слабого.

Тот же поворот произошёл и в других освобождённых странах. Конгресс Великой Колумбии в Кукуте в 1821 году постановил разделить индейские общинные земли — «ресгуардо» — между семьями и отменил индейскую подать. Через семь лет, в 1828 году, сам Боливар, ставший к тому времени диктатором, восстановил подать: казне нужны были деньги, а индейцы, как и при короле, оставались самыми надёжными плательщиками. В Боливии Сукре попытался

заменить индейскую подать всеобщим прямым налогом для всех граждан, но богатые креолы платить отказались, и через пару лет подать вернулась. Так сложилась формула, которая будет определять положение андских общин весь XIX век: подать — как при короле, а защита земли — как при свободном рынке. От колониального «пакта взаимности» республика сохранила ту его часть, которая была выгодна ей.

Пётр Кропоткин, наблюдавший общинную жизнь в том числе в сибирских экспедициях, дал этому спору самый жёсткий ответ. В книге «Государство и его роль в истории» он показывал, как государство и рынок веками методично разрушали всё, на чём держалась солидарность снизу: сельскую общину, цех, религиозное братство, родовую взаимопомощь. Делалось это во имя свободы и равенства, но равенство одиноких индивидов, лишённых опоры друг в друге, быстро превращается в иерархию по богатству — и именно в этом, с нашей точки зрения, суть либерального проекта. Андские общины после указов Боливара пережили это на себе.

Для сибирского читателя этот спор звучит знакомо, но с неожиданной стороны. Русская мысль XIX века тоже спорила о том, что делать с общиной. Народники — и с ними связанные идейно и организационно областники — видели в крестьянском мире не пережиток, а опору будущего, зародыш справедливого общества, который нельзя разрушать во имя частной собственности. Их противники, от либеральных экономистов до Столыпина, считали общину помехой прогрессу и стремились превратить крестьянина в хуторянина, полного собственника своего участка. В «Коренной Сибири» мы описывали, как на коренных землях в конце XIX века отмеряли «норму», а остальное объявляли «излишками» для переселенцев. Мы предполагаем, что эти споры — андский и русский — одного происхождения: это спор о том, кто защищает слабого, если земля становится товаром. Не случайно Мариатеги, как мы увидим, придёт к выводу, очень близкому к народническому: андская община — не пережиток, а возможная основа социализма. Но, прежде чем он это напишет, общинам предстоит пережить ещё столетие республиканского либерализма. А сами освободители — Боливар, Сан-Мартин, Сукре — ещё до конца 1820-х годов увидели, как их государства распадаются, и решить, кому принадлежит свобода, оказалось ещё труднее, чем отнять её у Испании. Оставался последний вопрос этой главы — о тех, кого независимость не освободила совсем.

2.5. Рабство после независимости

Войны за независимость велись под знаменем свободы, и рабство оказалось первым испытанием того, что эта свобода значит. Освободители прекрасно видели противоречие. Боливар обещал Петиону освободить рабов, Сан-Мартин освобождал их в армию, республики одна за другой провозглашали, что на их земле рабов больше не будет. Но почти нигде рабство не отменили сразу. Чили, где рабов было немного, сделала это в 1823 году. Центрально-американская федерация — в 1824-м. Мексика — в 1829 году, при президенте Висенте Герреро, бывшем соратнике Морелоса, у которого среди предков были африканцы. В остальных странах свободу растянули на десятилетия. Формулой стал «закон о свободном чреве»: дети рабынь, родившиеся после принятия закона, объявлялись свободными, но до восемнадцати, а где-то до двадцати пяти лет должны были работать на хозяина матери, «возмещая расходы на своё содержание». Те, кто уже родился рабами, оставались рабами. Колумбия и Эквадор окончательно отменили рабство в 1851–1852 годах, Венесуэла и Перу — в 1854-м, Аргентина — по конституции 1853 года, а провинция Буэнос-Айрес — только в 1861-м.

Когда рабство всё-таки отменяли, деньги получали не рабы, а их владельцы. Освобождение почти везде сопровождалось компенсацией за утраченную собственность. В Перу её выплачивали из доходов от продажи гуано, птичьего помёта с прибрежных островов, который как раз тогда стал главным богатством страны. И одновременно с этим, с 1849 по 1874 год, в Перу ввезли около ста тысяч китайских рабочих-кули по контрактам, которые мало чем отличались

от рабства. Их отправляли добывать то самое гуано на островах, где люди задыхались от едкой пыли и кончали с собой, и работать на сахарных плантациях побережья вместо освобождённых чернокожих. Республика отменила одну форму несвободного труда и тут же завела другую, а рента от гуано пошла и на выкуп старых рабов у хозяев, и на привоз новых работников.

Две страны, где рабство было основой всей экономики, сохраняли его дольше всех. Куба оставалась испанской колонией, её сахарные плантации в XIX веке стали крупнейшими в мире, и рабов туда ввозили вплоть до 1860-х годов. Рабство на Кубе отменили только в 1886 году. Бразилия получила независимость в 1822 году мирно, без революции: сын португальского короля просто объявил себя императором, и плантаторы получили государство, которое не собиралось трогать их собственность. Под давлением Англии Бразилия в 1831 году запретила ввоз рабов, но закон был, по местному выражению, «для того, чтобы англичане видели», и работорговля продолжалась ещё двадцать лет. За всё время в Бразилию привезли, по современным оценкам, почти пять миллионов африканцев — больше, чем в любую другую страну мира. Галеано приводит ещё бóльшую цифру, около десяти миллионов (Галеано, с. 86). Рабство в Бразилии отменили последним в Западной полушарии — «Золотым законом» 13 мая 1888 года. Через полтора года плантаторы, недовольные тем, что монархия не заплатила им компенсации, поддержали военный переворот, и империя пала.

Самое важное началось после отмены. Галеано пишет об этом коротко: «В 1888 г. в Бразилии рабство было отменено. Но латифундия отменена не была» (Галеано, с. 128). Освобождённые рабы не получили ни земли, ни денег, ни образования. Владельцы кофейных плантаций, как замечает Галеано, давно подсчитали, что им дешевле платить наёмным работникам мизерное жалованье, чем покупать и содержать рабов (с. 142), и на плантации Сан-Паулу привезли европейских иммигрантов, итальянцев и португальцев, а бывшие рабы ушли на окраины городов и в глубинку. Во многих странах сразу после освобождения появились законы о «бродяжничестве», которые обязывали человека без земли и работы наниматься к хозяину под угрозой ареста. Рабство кончилось как право собственности одного человека на другого, но не кончилось как отношение между тем, у кого есть земля, и тем, у кого её нет. Это та же картина, что и с андскими общинами: формальное равенство, за которым быстро встаёт иерархия по богатству, и на её вершине оказываются те же семьи, что стояли там при колонии.

Сибирь не знала рабства, но Россия знала освобождение по сходной схеме. В 1861 году в Российской империи отменили крепостное право, и освобождённые крестьяне получили землю — но должны были платить за неё помещикам выкупные платежи, растянутые на десятилетия. Компенсацию, как и в Америке, получили бывшие хозяева, а платили за неё сами освобождённые. В Сибири помещиков не было, но и здесь 1861 год касался многих: приписных крестьян Алтайского горного округа, о которых шла речь в начале книги, которые только теперь перестали быть собственностью Кабинета. Мы предполагаем, что эта схема — освобождение без земли или за плату, с компенсацией хозяевам — общая для всех великих освобождений XIX века, от Бразилии до России, и что именно она объясняет, почему потомки освобождённых так долго оставались внизу.

К концу 1820-х годов, когда испанские армии ушли из Америки, на месте вице-королевств возникли независимые республики. Колониальный порядок в них не исчез, а сменил хозяев. Индейские общины потеряли защиту короны, но сохранили податль. Рабы получили обещания, но большинство ждали свободы ещё десятилетия. Креолы получили власть, но не знали, как её поделить между собой. Скоро выяснилось, что двадцать новых государств не могут договориться ни о границах, ни о том, кто ими будет править, и на смену освободителям пришли каудильо.

Глава 3. Каудильо и республики без публики (1820–1870)

3.1. Распад на двадцать стран

Если положить рядом карту испанской Америки 1800 года и карту 1840-го, первое, что бросится в глаза, — число границ. Четыре вице-королевства и несколько генерал-капитанств превратились почти в два десятка государств, и процесс этот шёл не по чьему-то плану, а вопреки планам почти всех освободителей. Боливар мечтал о союзе республик, Сан-Мартин — о монархии, которая объединит освобождённые земли, мексиканские консерваторы — об империи от Калифорнии до Панамы. Ни один из этих проектов не пережил 1830-х годов. Великая Колумбия, которую Боливар собрал из Венесуэлы, Новой Гранады и Эквадора, распалась в 1830 году, в год его смерти. Центральноамериканская федерация, отделившаяся от Мексики в 1823 году, к концу 1830-х годов распалась на пять республик. Верхнее Перу, которое при испанцах подчинялось то Лиме, то Буэнос-Айресу, в 1825 году стало отдельной страной и в честь освободителя назвалось Боливией. Парагвай фактически отделился от Буэнос-Айреса ещё в 1811 году и закрылся от соседей. Уругвай, за который несколько лет воевали Аргентина и Бразилия, в 1828 году при посредничестве Англии стал независимым буферным государством между ними.

Попытки объединения кончались войнами. В 1836 году боливийский президент Андрес де Санта-Крус создал Перуанско-боливийскую конфедерацию, и Чили, увидев в ней угрозу, объявила войну. В 1839 году чилийская армия разбила конфедерацию, и она распалась (Альперович, Слёзкин, с. 154). На севере дело обстояло ещё хуже. Мексика, самая большая из новых республик, не смогла удержать собственные окраины: в 1836 году отделился Техас, где американские поселенцы-рабовладельцы восстали против мексиканского запрета рабства, а в войне 1846–1848 годов Соединённые Штаты отняли у Мексики почти половину её территории — Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону и другие земли. Гаити в 1822 году заняла испанскую часть острова Эспаньола и удерживала её двадцать два года, пока в 1844 году там не была провозглашена Доминиканская Республика.

Почему распалась испанская Америка? Историки называют несколько причин, и все они важны для нашей темы. Первая — география и связь. Анды, сельва, пустыни и огромные расстояния делали общение между провинциями медленнее, чем общение каждой из них с Европой: из Буэнос-Айреса было проще доплыть до Лондона, чем доехать до Лимы. Вторая — экономика. Каждый регион вывозил своё сырьё через свой порт и жил связью с внешним рынком, а не с соседями: Венесуэла — какао, Ла-Плата — кожи и солонину, Чили — медь и пшеницу. Таможня в порту была главным источником доходов любого правительства, и никто не хотел делить её с далёкой столицей. Третья — сама колониальная администрация. Новые государства складывались по границам старых аудиенсий и вице-королевств, в которых за три века сложились свои местные элиты со своими интересами. Креольская семья в Каракасе или Кито чувствовала себя хозяйкой своей провинции, а не частью великой Колумбии, и не собиралась подчиняться Боготу вместо Мадрида. Мы предполагаем, что именно последняя причина была главной: независимость освободила не Америку, а несколько десятков региональных элит, и каждая из них выбрала себе столько государства, сколько могла удержать.

На фоне испанской Америки особенно заметна Бразилия, которая при сравнимых размерах и не меньших расстояниях не распалась. Объяснение, которое предлагают историки, неутешительно. Бразилия получила независимость как монархия, и император оставался общим центром для всех региональных элит. А главное — эти элиты связывал общий страх: страх перед восстанием рабов. Пока рабство оставалось основой экономики, плантаторы всех про-

винций нуждались в сильной центральной власти, которая подавит любой мятеж. Региональные восстания 1830–1840-х годов — от республики фаррапус на крайнем юге до Кабанажена в Амазонии, где восстали метисы, индейцы и бедняки и где погибла, по некоторым оценкам, до трети населения провинции, — центральная власть подавила. Единство Бразилии было куплено тем же, что держало вместе креольскую Мексику после Идальго: союзом верхов против низов.

Сибирский читатель знает и другую сторону этого сюжета. Областники мыслили Сибирь как единый край со своими общими интересами — «Сибирь как колония» Ядринцева написана обо всей Сибири сразу. Но и внутри Сибири была своя география расстояний и свои региональные центры: Томск и Иркутск, Тобольск и Красноярск соперничали между собой, и Сибирская областная дума 1918 года с трудом собрала представителей огромного края. А один латиноамериканский сюжет повторился в Сибири почти буквально. В 1920 году на Дальнем Востоке было создано формально независимое буферное государство — Дальневосточная республика, — призванное стоять между Советской Россией и Японией, точно так же как Уругвай в 1828 году должен был стоять между Аргентиной и Бразилией. Уругвай существует до сих пор, ДВР была ликвидирована через два года, как только в буфере отпала нужда. Различие показательно: в Латинской Америке распад определяли местные элиты, в Сибири любая самостоятельность решалась в центре.

Но распад на двадцать стран — только внешняя сторона дела. Внутри каждой новой республики шла своя борьба за то, кто будет хозяином — столица или провинции. Нигде эта борьба не была такой долгой и кровавой, как на Ла-Плате, где она приняла форму войны федералистов против унитариев.

3.2. Федералисты против унитариев: первый регионализм и его хозяева

Буэнос-Айрес в колониальные времена был захолустьем — Галеано напоминает, что в XVII веке это была большая деревня в четыреста домов (Галеано, с. 258). Всё изменилось, когда Ла-Плата стала главными воротами южной части континента. Через единственный порт шли наружу кожи, солонина и серебро, а внутрь — английские ткани, железные изделия и вино. Тот, кто держал таможенную Буэнос-Айреса, держал всю страну. Поэтому, когда в 1810 году Ла-Плата освободилась от Испании, главный политический вопрос нового государства оказался не идеологическим, а географическим: кому принадлежит порт и его доход — Буэнос-Айресу или всем провинциям? Отсюда выросли две партии, которые полвека вели между собой гражданскую войну. Унитарии хотели единого централизованного государства с правительством в Буэнос-Айресе, назначающим губернаторов провинций. Федералисты требовали автономии провинций и союза равных.

Советская историография вынесла этому спору ясный приговор. По учебнику Альперовича и Слёзкина, унитаризм отвечал интересам «зарождавшейся национальной буржуазии», а федералисты выражали стремления «крупных землевладельцев, отстаивавших свои феодальные привилегии и желавших сохранить территориальную раздробленность». Вывод сделан в духе формационной лестницы: «централизм объективно способствовал созданию предпосылок для развития капитализма, а федерализм препятствовал этому процессу» (Альперович, Слёзкин, с. 67). Справедливости ради, авторы тут же оговариваются, что связь партий с классами была «весьма относительна и условна». Галеано, писавший с той же левой стороны, смотрел на это совсем иначе: для него федералисты внутренних провинций — защитники местных ремёсел и мануфактур против свободной торговли, которую навязывали Англия и порт Буэнос-Айреса, а унитарии — партия компрадором (Галеано, с. 258–260). Два левых автора пришли к противоположным выводам, и это хороший повод присмотреться к спору внимательнее, не

принимая заранее ни ту, ни другую оценку. Для книги, написанной с областнической и анархистской стороны, этот спор не академический: в советской литературе сибирских областников тоже долго называли буржуазными сепаратистами, а централизм — прогрессом.

Если присмотреться, окажется, что у латиноамериканского федерализма было два лица. Первое связано с именем Хосе Хервасио Артигаса — креола из Монтевидео, который в молодости гонял гурты скота и знал степь и её людей лучше любого столичного адвоката (Альперович, Слёзкин, с. 56). В 1811 году он поднял восстание на Восточном берегу — будущем Уругвае — и вскоре стал вождём Лиги свободных народов, союза нескольких прибрежных провинций против Буэнос-Айреса. Его программа 1813 года требовала конфедерации, в которой каждая провинция сохраняет свой суверенитет, — по образцу первых американских Статей конфедерации. А в 1815 году Артигас издал «Временный регламент» о земле, какого не знала ни одна другая страна континента. Земли эмигрировавших врагов республики — «дурных европейцев и ещё худших американцев» — подлежали разделу, и первыми получить их должны были «самые несчастные»: свободные негры, самбо, индейцы и бедные креолы. Одним из командиров Артигаса был гуарани Андрес Гуасурари, Андресито, которого Артигас усыновил и поставил губернатором Мисьонес. Это был федерализм снизу: союз провинций, в котором право на землю получали те, у кого её не было. Буэнос-Айрес и португальская Бразилия вместе раздали его. В 1820 году Артигас ушёл в Парагвай и тридцать лет, до самой смерти, прожил там в изгнании. Галеано называет его «выдающимся народным предводителем» и напоминает, что в аргентинских школьных учебниках его ещё недавно называли разбойником (Галеано, с. 260).

Второе лицо федерализма — Хуан Мануэль де Росас. Владелец огромных эстансий в провинции Буэнос-Айрес, он командовал собственным войском из зависимых от него гаучо, пеонов и бывших рабов и был, по словам советского учебника, «полновластный хозяин принадлежавших ему земель, властелин над людьми, которые там работали и жили, вершитель суда и расправы» (Альперович, Слёзкин, с. 112). В 1829 году Росас стал губернатором Буэнос-Айреса с чрезвычайными полномочиями и почти четверть века правил всей конфедерацией. Он называл себя федералистом, и его сторонники носили красные ленты с надписью «Смерть диким унитариям!». Но его федерализм означал не свободу провинций, а союз провинциальных каудильо при гегемонии Буэнос-Айреса, порт которого Росас не собирался делить ни с кем. При этом — Галеано на этом настаивает — Росас в 1835 году ввёл протекционистский таможенный закон, запретивший ввоз многих изделий, которые могли делать в стране, и мануфактуры внутренних провинций при нём оживились (Галеано, с. 261–262). Росас был одновременно защитником местной промышленности, крупнейшим латифундистом, диктатором с тайной полицией и истребителем индейцев на южной границе. В одной фигуре собралось всё, что мешает дать федерализму простую оценку.

Унитарии тоже не были простой партией прогресса. Самый яркий голос этого лагеря, Доминго Фаустино Сармьенто, будущий президент Аргентины, написал в 1845 году знаменитую книгу «Факундо, или Цивилизация и варварство», где город и Европа — это цивилизация, а степь, гаучо и провинциальный каудильо — варварство, которое надо искоренить. В частном письме 1861 года, если верить широко цитируемому тексту, он советовал не жалеть крови гаучо, потому что она годится лишь на удобрение земли. Унитарии мечтали заселить пампу европейскими иммигрантами вместо местных метисов и индейцев. Их централизм был централизмом образованных горожан порта, которые смотрели на собственную страну как на колонию, требующую цивилизации.

Мы предполагаем, что спор федералистов и унитариев — первый пример того, что мы назвали во введении правым регионализмом, и одновременно опровержение того, что регионализм обречён быть правым. Регионализм Росаса — это свобода провинциального хозяина от столичного контроля, то есть свобода каудильо распоряжаться своими пеонами. Регионализм Артигаса — это свобода провинции как союза людей, включая тех, у кого не было земли.

Мариатеги через сто лет различит то же самое в Перу. Старый регионализм местных помещиков-гамоналов, заметил он, кончился союзом с централистским режимом: гамонал стал «лучшим инструментом» и «незаменимым агентом» той самой столицы, против которой когда-то выступал (Мариатеги, с. 246). Новый регионализм Анд он связывал с индейским и аграрным вопросом и сформулировал критерий, который годится и для Сибири: «Никакая реформа, которая усиливает гамонала в ущерб интересам индейца, не может считаться хорошей и справедливой реформой, пусть даже она и кажется реформой, удовлетворяющей регионалистским чаяниям» (с. 248). Для Сибири эта развилка решающая. Вопрос не в том, хорош ли регионализм вообще, а в том, кому он даёт власть: местной верхушке или местным людям. Областники, как мы видели, отвечали на него вторым способом, Артигас — тоже. Но в Латинской Америке XIX века победил первый, и на смену провинциальным свободам почти везде пришли каудильо. Самый знаменитый из них, Росас, заслуживает отдельного разговора: на его примере видно, как устроена власть, которая называет себя властью провинций.

3.3. Росас: власть, которая называет себя властью провинций

Чтобы понять Росаса, нужно сначала понять, что случилось с пампой в первые десятилетия независимости. Пока на равнинах Ла-Платы бродили стада ничьих быков, гаучо — степные пастухи-метисы — жили свободно: охотились на скот, отдавали хозяину земли шкуру и съедали лучшую часть туши. Но в 1816 году нашли способ надолго сохранять кожи, по всей провинции выросли мясосолильни, Бразилия, Куба и Африка стали покупать вяленое мясо для рабов, и пампа превратилась в огромную скотоводческую фабрику для мирового рынка (Галеано, с. 258–259). Земля подорожала, её огородили, а свободный гаучо стал лишним. Галеано пересказывает декрет 1815 года, по которому всякий сельский житель без собственности был обязан наняться в услужение, носить при себе особый билет и раз в три месяца отмечать его у хозяина. Кто отказывался, считался бродягой и отправлялся в пограничный батальон воевать с индейцами (с. 259). Человек, который вчера воевал за независимость, сегодня оказался прикреплён к хозяину, как крестьянин к помещику. Сибирскому читателю такой билет напомним не только крепостную Россию, но и советского колхозника, которому до 1970-х годов не выдавали паспорта.

Хуан Мануэль де Росас вырос из этого мира и стал его хозяином. Он был сыном богатой семьи Буэнос-Айреса, но молодость провёл на эстансиях, умел скакать, бросать болас и укрощать коней не хуже любого гаучо, и гаучо уважали его как своего. К 1820-м годам он владел огромными землями и командовал собственным войском из своих пеонов — красными колорадос. В этом и была суть власти каудильо. Эстансия была не просто имением, а маленьким государством: хозяин давал работу, землю под ранчо, защиту от вербовщиков и полиции, судил и наказывал, а в ответ получал верность и всадников с копьями. Государство каудильо было той же эстансией, только размером со страну. Когда в 1829 году Росас стал губернатором с чрезвычайными полномочиями, он перенёс на всю провинцию отношения хозяина и пеона.

Росас правил долго — с перерывом с 1829 по 1852 год, — и его власть держалась не только на страхе. Он дал провинции порядок после двух десятилетий гражданских войн. Его по-настоящему поддерживали многие гаучо и бедняки Буэнос-Айреса, особенно чернокожие и мулаты города, обществам которых он покровительствовал и на чьих праздниках с барабанами-кандомбе бывала его дочь Мануэлита. Когда Франция в 1838 году, а затем Англия и Франция вместе в 1845-м блокировали Ла-Плату, Росас не уступил. Бой у Вуэльта-де-Облигадо в ноябре 1845 года, где аргентинцы цепями перегородили реку Парану перед англо-французской эскадрой, сегодня отмечается в Аргентине как День национального суверенитета. Старый Сан-Мартин, живший во Франции, завещал Росасу свою саблю — за защиту независимости от иностранцев. И при всём этом режим Росаса был диктатурой с культом личности и террором.

Каждый житель обязан был носить алую «федеральную» ленту, портрет «Реставратора законов» выставляли в церквях, а вооружённые отряды Масорки убивали и запугивали противников. В 1833–1834 годах Росас провёл первую «пустынную кампанию» на юг, против индейцев пампы, а с теми касиками, кто соглашался на мир, заключал договоры и платил им скотом и товарами за спокойствие границы.

В 1852 году Росаса свергла не столица и не унитарии, а другой федералист — Хусто Хосе де Уркиса, каудильо провинции Энтре-Риос, в союзе с Бразилией и Уругваем. Росас бежал в Англию и четверть века прожил фермером под Саутгемптоном, где и умер в 1877 году. Но спор о нём не кончился. Либеральная историография, писавшая историю от имени победителей, сделала из него тирана и варвара. В 1930-е годы аргентинские националисты и «исторические ревизионисты» превратили его в героя, защищавшего родину от иностранного капитала, а позже этот образ подхватили перонисты и левые националисты, которых цитирует и Галеано. В 1989 году президент Менем торжественно перевёз его прах на родину. Росас стал первым в длинной череде латиноамериканских лидеров, о которых спорят именно так: был ли он защитником суверенитета или диктатором? Мы ещё не раз встретим этот спор — о Пероне, о Варгасе, о Чавесе.

Мы предполагаем, что этот спор неразрешим, пока его ведут в рамках вопроса «за нацию или против неё». С нашей точки зрения, вопрос в другом: кто принимает решения? При Росасе их принимал один человек, хозяин крупнейших эстансий, окружённый своими пеонами, своими солдатами и своей полицией. Он мог защищать местные ремёсла от английских товаров и порт от французской эскадры, но гаучо при нём оставался пеоном с билетом, а индеец — врагом на границе или подкупленным союзником. Суверенитет страны при каудильо означал суверенитет хозяина над страной. Сибирская история знает похожие фигуры — не в XIX веке, а в Гражданскую войну, когда государство рухнуло и в Забайкалье, на Алтае и в Семиречье появились атаманы со своими войсками, своими контрразведками и своими покровителями за границей. Атаман Семёнов в Чите тоже говорил о защите края и тоже держался на личной преданности и терроре. Каудильо и атаман — продукты одного и того же положения: центральная власть ослабла, а общество снизу не успело организовать, и пустоту заполнил вооружённый хозяин.

У Ла-Платы была, однако, и другая история. В те же самые десятилетия, по соседству, в стране, которую Росас и его противники одинаково не любили, шёл эксперимент, совсем не похожий ни на унитаризм, ни на федерализм каудильо. Парагвай попытался жить без внешнего рынка и без собственной олигархии — и заплатил за это так, как не платила ни одна страна континента.

3.4. Парагвай Франции и Лопесов: государство вместо олигархии

В 1845 году американский агент Эдвард Хопкинс сообщал своему правительству из Асунсьона, что в Парагвае «нет ни одного ребёнка, не умеющего читать и писать». Эту фразу с удовольствием приводит Галеано, для которого Парагвай середины XIX века — «исключение среди латиноамериканских стран», единственная нация, «не изуродованная иностранным капиталом», страна без нищих, без голода и без воровства, без иностранного долга, с собственными железной дорогой, телеграфом, литейным заводом и верфью (Галеано, с. 266–268). В «Вскрытых венах» Парагвай — это то, чем могла бы стать вся Латинская Америка, если бы её не задушили Англия и соседи. Советский учебник Альперовича и Слёзкина описывает ту же страну и тех же людей совсем другими словами: доносы, казни по малейшему подозрению, запрет на выезд под страхом смерти, отсутствие судов и конституции (Альперович, Слёзкин,

с. 133–135). Обе картины верны, и это делает парагвайский опыт одним из самых важных и неудобных для нашей книги.

Парагвай рано и почти без войны отделился и от Испании, и от Буэнос-Айреса, и уже в 1814 году вся власть в нём оказалась в руках одного человека — доктора права Хосе Гаспара Родригеса де Франсии. Через два года конгресс сделал его пожизненным «верховным диктатором», и Франсиа, Эль Супремо, правил до смерти в 1840 году. Он был человеком Просвещения, читателем Руссо и Вольтера, аскетом и врагом креольской знати. Его политика была направлена против той самой элиты, которая в остальной Америке забрала себе независимость. В 1814 году испанцам запретили жениться на женщинах европейского происхождения, чтобы разрушить замкнутую касту белых семей (с. 132). Заговор креольских офицеров и знати 1820 года кончился расстрелами, арестами и конфискациями. Монастыри были закрыты, церковные земли конфискованы, священники превратились в государственных служащих. Земли изгнанных, казнённых и церкви перешли государству. К концу правления Франсии, по данным, которые приводит Галеано, почти вся территория страны стала государственной собственностью, а крестьяне получали наделы от государства с обязательством обрабатывать их и без права продажи (Галеано, с. 268). Галеано формулирует суть очень точно: государство «вытеснило национальную буржуазию, заняло её место и взяло на себя её роль» (с. 267).

Ценой этого был полный контроль над жизнью каждого. Франсиа закрыл границы, выезд из страны карался смертью, переписка с заграницей прекратилась, без разрешения нельзя было даже переселиться в соседний округ, выборные городские советы упразднили, а приговоры по серьёзным делам выносил сам диктатор без суда и апелляции (Альперович, Слёзкин, с. 134–135). Галеано отвечает на это, что «в тот исторический период только те, кто потерял бывшие привилегии, тосковали по демократии» (Галеано, с. 267). С этим мы согласиться не можем. Парагвайские крестьяне, получившие землю от государства и защиту от помещиков, были свободны от гамоналов, но не свободны вообще. Они не могли ни уехать, ни выбрать, ни возразить. Государство стало их единственным хозяином, и, по некоторым данным, на крупных государственных эстансиях — «поместьях родины» — работали в том числе принадлежавшие государству рабы: рабство в Парагвае окончательно отменили только в 1869 году. При преемниках Франсии, Карлосе Антонио Лопесе и его сыне Франсиско Солано Лопесе, страна открылась шире, наняла европейских инженеров, построила железную дорогу и арсеналы, но власть оставалась такой же личной, а при Солано Лопесе стала ещё и военной.

В 1864 году Бразилия вмешалась в гражданскую войну в Уругвае, и Солано Лопес, считавший себя защитником равновесия на Ла-Плате, ответил вторжением сначала в бразильскую провинцию Мату-Гросу, а затем в аргентинскую провинцию Корриентес. В 1865 году Бразилия, Аргентина и Уругвай заключили против Парагвая Тройственный союз. Война длилась пять лет и стала самой страшной в истории Латинской Америки. Парагвай сражался до последнего: в армию забирали стариков и подростков, в 1869 году в битве при Акроста-Нью против бразильской армии стояли мальчики, переодетые в мужчин, и в память о них в Парагвае до сих пор отмечают День ребёнка. Солано Лопес погиб в 1870 году, отступая с остатками армии в северные леса. Сколько людей потерял Парагвай, точно не знает никто: оценки историков расходятся необычайно широко — от десятой части до двух третей довоенного населения, — но все сходятся в том, что среди мужчин потери были катастрофическими. Галеано видит за войной руку английских банков, финансировавших союзников (с. 266, 270). Современные историки спорят, насколько британский интерес был причиной, а не следствием войны, и указывают на собственные амбиции Бразилии, Аргентины и самого Солано Лопеса. Но одно бесспорно: после войны Парагвай заплатил полную цену. В 1880-е годы победившие либералы распродали государственные земли, и почти вся страна перешла в руки иностранных и местных латифундистов. Одна аргентинская компания купила в Чако миллионы гектаров. Страна,

где когда-то почти не было частной земли, стала страной с одним из самых неравных распределений земли в мире.

Мы предполагаем, что Парагвай XIX века — первый в Латинской Америке опыт того, что потом назовут государственным развитием: государство само становится собственником, предпринимателем и хозяином, вытесняя и иностранный капитал, и местную олигархию. Галеано восхищается этим опытом, и у него есть основания: Парагвай действительно избежал судьбы соседей, превратившихся в сырьевые придатки Англии. Но Парагвай показывает и обратную сторону. Олигархию уничтожили не общины и не сами крестьяне, а государство и его диктатор, и место помещика занял не крестьянский мир, а казна. Это то самое различие между обобществлением и огосударствлением, о котором писали кубинские анархисты. Сибирскому читателю парагвайская модель знакома лучше, чем латиноамериканскому: страна, закрытая от мира, где нельзя уехать без разрешения, где государство — единственный собственник земли и заводов, где каждый шаг на учёте и где всё это объясняется необходимостью защищать независимость от врагов. Мы прожили в такой стране семьдесят лет. Мы знаем, что она может построить заводы, научить всех читать и выдержать страшную войну. Мы знаем и то, чего она не даёт.

Парагвай был не единственной попыткой объединить или перестроить пространство бывших колоний и не единственной, которую раздавили соседи. Центральная Америка начала свою независимость как федерация, и её распад показал другую сторону той же проблемы.

3.5. Центральноамериканская федерация, которая не состоялась

15 сентября 1842 года на центральной площади Сан-Хосе, столицы Коста-Рики, расстреляли Франсиско Морасана, бывшего президента Федерации Центральной Америки. Это случилось ровно через двадцать один год после того, как Гватемала провозгласила независимость от Испании. По преданию, которое пересказывает Галеано, Морасан сам скомандовал своему расстрелу, а когда после первого залпа поднял окровавленную голову и сказал «Я жив», его добили вторым (Галеано, с. 359). Вместе с ним, как пишет советский учебник, Центральная Америка потеряла «последнюю надежду на то, что в обозримом будущем на её территории возникнет единое сильное независимое государство» (Альперович, Слёзкин, с. 207). Пять республик, которые остались от федерации, — Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика — существуют до сих пор, и до сих пор на гербах и флагах некоторых из них видны следы общего прошлого. Но за этой романтической историей скрыт неудобный вопрос, который мы задаём на протяжении всей главы: чью свободу защищал федерализм и кто его разрушил?

Генерал-капитанство Гватемала было, по словам Альперовича и Слёзкина, «самой бедной и слабо развитой частью испанской колониальной империи в Западном полушарии» (с. 203). В нём не было ни серебра Потоси, ни сахара Кубы: кошениль и индиго, которые Европа покупала для своих тканей, давали доход немногим (Галеано, с. 152). Независимость пришла сюда почти без войны. В сентябре 1821 года гватемальская верхушка провозгласила отделение от Испании, отчасти для того, чтобы опередить возможное движение снизу, а через несколько месяцев присоединилась к мексиканской империи Итурбиде. Сальвадор сопротивлялся, и мексиканские войска заняли его силой. Когда империя Итурбиде пала, в 1823 году провинции объявили себя независимыми от всех и в 1824 году приняли федеративную конституцию по образцу Соединённых Штатов. Чьяпас остался в Мексике. Федерация с самого начала была устроена неравно: в Гватемале жила почти половина населения союза, там находились столица, лучшая армия и самая сильная аристократия, и уже в 1826 году президент федерации Мануэль Хосе Арсе, опираясь на гватемальских консерваторов, совершил переворот, вернул церкви десятину и ввёл цензуру (Альперович, Слёзкин, с. 203). Малые члены союза видели в феде-

рации не общий дом, а прикрытие для власти Гватемалы. Против Арсе поднялись либералы Гондураса и Сальвадора во главе с Морасаном, сыном торговца из Тегусигальпы, и в 1829 году взяли город Гватемалу. Через год конгресс избрал Морасана президентом федерации.

Либеральная программа Морасана и его гватемальского союзника, губернатора Мариано Гальвеса, была самой смелой в Латинской Америке того времени. Свобода вероисповедания, гражданский брак и развод, суд присяжных по уголовным кодексам американца Эдварда Ливингстона, изгнание архиепископа и монахов, отмена обязательной десятины, новые школы и университеты (Альперович, Слёзкин, с. 204). Советские авторы упрекают Морасана только в одном: он был недостаточно радикален, не тронул землю церкви и помещиков и поэтому народ, «объективно наиболее заинтересованный в осуществлении либеральных идеалов», не пошёл за ним, поддавшись агитации священников, которые использовали «религиозный фанатизм обывателей и тёмных крестьян-индейцев» (с. 204). Но у индейцев Гватемалы были вполне земные причины не любить либеральное правительство. Гальвес ввёл подушную подать в два песо, отменённую было после независимости, и обязательную трудовую повинность на строительстве дорог. Государственные и общинные земли объявлялись пустующими и продавались, а огромные территории Верапаса и Петена отдали в концессию английской колонизационной компании. Новые суды присяжных в деревнях, где присяжными могли стать только грамотные ладино, означали для индейцев суд чужих. Либерализм, как и в Андах после указов Боливара, приносил общинам равенство перед законом, а вместе с ним налог, повинность и рынок земли.

В 1837 году в Гватемалу пришла холера. Священники объясняли её Божьей карой за грехи правительства-«еретика», а по деревням пошли слухи, что врачи и чиновники отравляют колодцы (Альперович, Слёзкин, с. 205–206). В мае в горных районах Монтаньи вспыхнуло восстание. Во главе его стал двадцатитрёхлетний Рафаэль Каррера — неграмотный метис из бедного квартала столицы, бывший свинопас и барабанщик, а затем сержант. Его армию составили индейские и метисные крестьяне, и он сражался под лозунгами защиты религии. В феврале 1838 года Каррера вошёл в город Гватемалу, Гальвес ушёл в отставку, и восстание стало началом конца федерации. В том же году конгресс разрешил провинциям устраиваться как им угодно, и Никарагуа, Гондурас и Коста-Рика объявили о выходе из союза. Морасан ещё два года воевал, в 1840 году потерпел поражение под стенами Гватемалы и уехал в изгнание, а в 1842 году попытался начать заново из Коста-Рики, где и был расстрелян. Альперович и Слёзкин называют движение Карреры «гватемальской Вандеей» (с. 206) и пишут, что он «высшие классы заставил заискивать, низшие — поставил в положение крепостных» (с. 208). Сам Каррера правил Гватемалой почти тридцать лет, с 1854 года — пожизненным президентом, вернул церкви земли и десятину, пустил в страну иезуитов, в 1859 году уступил Англии Белиз и задавил все попытки либералов восстановить федерацию.

Современные историки, прежде всего Ральф Ли Вудворд, видят в Каррере и другое. Он отменил подушную подать Гальвеса, восстановил часть колониальных законов о защите индейцев, приостановил распродажу общинных земель и учредил особую комиссию по делам индейцев. Пока он правил, индейские общины Гватемалы сохранили большую часть своих земель и своё внутреннее самоуправление. Мы предполагаем, что в этом и разгадка его долгой власти: Каррера восстановил тот самый пакт взаимности, о котором мы писали в связи с Андами, — подчинение и верность в обмен на защиту земли и обычая. Его консервативная республика была, по сути, возвращением к колониальным «двум республикам»: отдельный мир индейцев под опекой церкви и сильного правителя. Это не была свобода. Индейцы оставались внизу, без голоса в делах страны, ладино и креольские семьи сохранили власть и богатство, а при Каррере же начали расширяться кофейные плантации, которые потом поглотят общины (Альперович, Слёзкин, с. 209). Но сравнение с тем, что пришло следом, говорит само за себя. В 1871 году в Гватемале победили либералы, и Хусто Руфино Барриос, новый Морасан, повёл страну по пути «буржуазно-демократического развития». Советский учебник хвалит его за то, что он роздал

«значительное количество земли из государственных фондов для создания мобильного сельского хозяйства фермерского типа» (с. 211). Галеано рассказывает, что это означало на деле. Земли индейских общин перешли к кофейным плантаторам, крестьян, не желавших продавать землю, забирали в армию, воскресли колониальные законы о принудительной вербовке работников и о бродяжничестве, а беглых батраков убивали (Галеано, с. 152–153). Либеральный регламент о батраках 1877 года обязал индейские деревни поставлять работников на плантации по разнарядке. Каррера был тираном и ставленником церкви, но тридцать лет его власти оказались для общин временем передышки, а либеральная свобода обернулась для них новым крепостным правом.

Единственный раз в XIX веке пять республик действовали вместе — против иностранного завоевателя. В 1855 году никарагуанские либералы, проигрывавшие гражданскую войну консерваторам, пригласили на помощь американского авантюриста Уильяма Уокера. Тот явился с отрядом наёмников, взял Гранаду, а в 1856 году сам объявил себя президентом Никарагуа, сделал английский официальным языком и восстановил рабство (Альперович, Слёзкин, с. 210). Галеано видит за ним американских банкиров, а в самом походе — продолжение экспансии рабовладельческого Юга, только что получившего мексиканские земли (Галеано, с. 154). Против Уокера объединились все центральноамериканские государства, включая армию Карреры, и в 1857 году выгнали его из страны. Через три года, пытаясь вернуться, он был расстрелян в Гондурасе. Объединение, которого не смог добиться Морасан, на два года создал завоевателя. Последнюю попытку восстановить союз силой предпринял тот же Барриос: в 1885 году он провозгласил единую Центральноамериканскую республику, двинул армию в Сальвадор и погиб в первом же бою (Альперович, Слёзкин, с. 212). После этого регион стал тем, что Галеано назовёт «естественным придатком» Соединённых Штатов, — землёй кофейных плантаций, а затем банановых компаний (Галеано, с. 154).

История Центральной Америки ставит вопрос, который любой регионалист должен решить заранее. Мы привыкли думать, что федерализм и союз равных — на стороне свободы, а распад на мелкие государства — на стороне каудильо и реакции. Морасан был федералистом и объединителем, а Каррера — разрушителем федерации. Но федерация Морасана несла общинам налог, повинность и распродажу земли, а сепаратист Каррера оказался для них защитником. Свобода союза провинций и свобода людей внутри этих провинций — разные вещи, и одна не гарантирует другую. Федерация Морасана говорила от имени граждан, а индейские общины, составлявшие большинство населения Гватемалы, были в ней только объектом реформ, без собственного голоса и без защиты от тех, кто в федерации распоряжался. Сибирские областники эту ловушку видели. В статье «Нужды Сибири» 1908 года Потанин, требуя общесибирской областной думы, сразу добавлял, что «такие же органы необходимы и для инородческих племён», причём каждому народу нужна одна общая дума: бурятам — бурятская, казахам — киргизская, алтайцам — алтайская (Потанин, с. 114–115). И он прямо объяснял, зачем нужны гарантии: «в сибирской областной думе большинство будет принадлежать русскому племени, и потому нужно ожидать, что в случаях, где интересы инородцев столкнутся с интересами русских, русское большинство не всегда окажется на стороне справедливости». Тогда у коренных народов должна оставаться возможность апеллировать к Государственной думе, которая, не владея хозяйством края, не заинтересована в эксплуатации их земель (с. 116–117). В том же перечне сибирских нужд стоит требование вернуть алтайцам земли Чулышманского монастыря (с. 115–116).

Потанин, таким образом, сделал то, чего не сделал Морасан: заранее увидел, что автономия края может превратиться во власть его большинства над теми, кого в «Коренной Сибири» мы называли «малыми внутри малых», и предложил против этого два препятствия — собственные думы народов и право обращаться через голову краевого большинства к далёкому центру. Это тот самый далёкий центр как меньшее зло, только встроенный в конституцию как предо-

хранитель, а не оставленный на милость царя или каудильо. Центральная Америка показывает, что бывает, когда такой гарантии нет: самые слабые жители края видят в свободе края угрозу и ищут защиты у того, кто пообещает им сохранить землю, будь то далёкий центр или местный диктатор. Поэтому вопрос, кто получает власть в регионализме — край или местный хозяин, — нужно дополнить вторым: есть ли у тех, кто внизу, собственный голос внутри этого регионализма.

Гватемальская история, в которой либералы несут прогресс и одновременно отнимают землю у общин, а консерваторы защищают церковь и одновременно защищают общину, не была местной особенностью. Во второй половине XIX века тот же спор прошёл через всю Латинскую Америку, от Мексики до Боливии, и почти везде либералы выиграли.

Глава 4. Либералы против общины (1850–1890)

4.1. Либералы и консерваторы: о чём был спор

Почти в каждой латиноамериканской стране середины XIX века было две партии, и почти везде они назывались одинаково. В Мексике, Колумбии, Венесуэле, Центральной Америке, Чили против консерваторов стояли либералы. В Уругвае их звали «белыми» и «красными», в Колумбии партии различали по цветам — синий у консерваторов, красный у либералов, — и эти цвета передавались в семьях по наследству, как вера. Спор между ними редко оставался парламентским. Мексика пережила трёхлетнюю Войну за реформу (1858–1861) и затем французскую интервенцию, во время которой консерваторы пригласили на мексиканский трон австрийского эрцгерцога Максимилиана. Колумбия за XIX век пережила восемь общенациональных гражданских войн и десятки местных. Венесуэла пять лет воевала в «Войне федерации» (1859–1863). Чтобы понять, что стояло на кону в этих войнах, нужно спросить не только о том, что разделяло партии, но и о том, что их объединяло, и о том, кто оставался за пределами спора.

Советский учебник даёт ясную картину. Консерваторы — это «латифундисты, высшее духовенство, реакционная военщина, добивавшиеся сохранения своих привилегий и социально-экономических институтов колониального периода», а самые крайние из них — и монархии. Либералы требовали ограничить привилегии церкви и армии, причём их левое крыло, мексиканские «пурос», «опиралось на городскую и сельскую бедноту, ремесленников, мелких торговцев, служащих, интеллигенцию» (Альперович, Слёзкин, с. 231). В такой схеме либералы оказываются партией прогресса и буржуазии, консерваторы — партией феодализма, а история — восхождением по лестнице формаций, где победа либералов была необходимой ступенью. В программах партий эта картина действительно отражена. Консерваторы защищали католическую церковь как государственную, её земли, десятину и фуэрос — особые сословные суды духовенства и военных, порядок, сильную центральную власть, иногда монархию. Либералы требовали равенства всех перед законом, отмены сословных привилегий, светской школы и гражданского брака, свободы печати и торговли, отделения церкви от государства и, часто, федерализма. Когда в 1833 году в Мексике к власти ненадолго пришли пурос во главе с врачом Валентином Гомесом Фариасом, они отменили обязательную десятину, запретили создание новых религиозных корпораций и передали регистрацию браков и рождений светским властям (с. 232).

Ключевое слово либеральной программы — «корпорация». Для либералов XIX века главным врагом были не отдельные люди, а коллективные собственники, державшие землю вне рынка: церковь и монастыри, армия со своими судами, ремесленные цехи — и индейские общины. Испанское право называло такую собственность «мёртвой рукой»: земля, принадлежащая корпорации, не продаётся, не закладывается и не переходит к тому, кто сумеет обработать её выгоднее. С точки зрения либерального экономиста, община в Андах и монастырское поместье были одним и тем же злом, и лечить их следовало одним средством — разделом на частные участки и продажей. Уже Боливар, как мы видели, начал с этого в Перу. Мексиканские либералы 1820-х годов пошли ещё дальше и решили, что индейцев как особой группы больше нет: все теперь граждане, и слово «индеец» начали вычёркивать из официальных бумаг. Равенство перед законом означало, что община больше не может опираться на старые колониальные законы, которые худо-бедно защищали её землю, а её члены становились отдельными собственниками перед лицом гасиенды, ростовщика и налогового чиновника. Мы уже писали

вслед за Кропоткиным, к чему ведёт такое равенство: солидарность снизу разрушается, а на её месте быстро вырастает иерархия по богатству.

Если посмотреть, кто воевал за какую партию, схема учебника перестаёт работать. Обе партии возглавляли семьи землевладельцев, адвокатов и генералов, и нередко братья оказывались по разные стороны. Беднота же делилась между партиями самым неожиданным образом. В Колумбии либеральное правительство Хосе Иларио Лопеса в 1849–1853 годах отменило рабство, фуэрос и десятину, изгнало иезуитов — и одновременно позволило индейцам продавать общинные земли, которые, как признаёт советский учебник, «скупали за бесценок латифундисты и спекулянты» (Альперович, Слёзкин, с. 192). Ремесленники Боготы, объединённые в «Демократические общества», сначала поддерживали либералов, но, когда радикальное крыло партии стало добиваться полной отмены ввозных пошлин, поняли, что свободная торговля английскими товарами разорит их мастерские, и потребовали защитных тарифов. В апреле 1854 года ремесленники и солдаты столичного гарнизона во главе с генералом Хосе Марией Мело взяли власть в Боготе. И тогда, пишут Альперович и Слёзкин, «обе традиционные политические партии на время объединились» и в декабре разгромили их (с. 193). Сотни пленных ремесленников отправили в ссылку в малярийные низины Панамы. Это одна из первых в Латинской Америке попыток городских низов взять власть самостоятельно, и её подавили либералы и консерваторы вместе.

С индейскими общинами картина была ещё сложнее. Мы видели, что в Гватемале общины пошли за консервативным каудильо Каррерой, потому что либералы несли им подушную подать и распродажу земли. В Мексике многие общины поддерживали консерваторов и даже императора Максимилиана, который, к ужасу своих консервативных союзников, учредил особый совет по защите «бедствующих классов» и издал законы, возвращавшие общинам часть прав на землю. Но были и обратные примеры. Сам Бенито Хуарес, вождь мексиканских либералов, был сапотеком из горной деревни Оахаки, а индейские деревни в горах Пуэблы воевали за либералов против французов, надеясь, что республика вознаградит их землёй и самоуправлением. Мы предполагаем, что общины выбирали не идеологию, а союзника: шли за тем, кто в данный момент обещал оставить им землю и не трогать их собственные порядки, и почти всегда оказывались обманутыми, кто бы ни победил. Консерваторы защищали не общину как таковую, а колониальный порядок, в котором община была нижней ступенью. Либералы освобождали индейца от сословных ограничений и тем самым оставляли его один на один с рынком.

Через полвека после того, как этот спор отгремел, Мариатеги подвёл ему итог для Перу. Вице-королевство было строем «средневековым и чужеземным», республика же «формально является строем перуанским и либеральным» и потому «должна была улучшить условия существования индейцев». Вместо этого «республика разорила индейцев» и означала для них «возвышение нового правящего класса, систематически захватывавшего принадлежащие им земли» (Мариатеги, с. 77). Мариатеги не стал защищать от либерализма колониальную опеку. Он сделал другой вывод: время «либерального метода решения аграрного вопроса, индивидуалистической формулы» в Перу прошло, потому что там сохранились «индейские общины и элементы практического социализма в земледелии и быте индейского населения» (с. 91). Иначе говоря, третьей стороной в споре либералов и консерваторов оказывалась сама община — не как пережиток, который надо либо сохранить под опекой, либо разрушить ради прогресса, а как возможная основа будущего.

Русскому и сибирскому читателю этот спор знаком очень хорошо, потому что в России он шёл одновременно с латиноамериканским и почти в тех же словах. Русские либералы и государственники, начиная с Бориса Чичерина, видели в крестьянской общине не древнюю народную форму, а порождение фискального государства и препятствие для частной собственности. Народники, Герцен, а затем Кропоткин видели в ней зародыш свободного самоуправ-

ления. Сибирские областники стояли на той же стороне, что и народники. Потанин писал, что всю историю Сибири можно рассматривать как «постепенный переход от древнего общинного самоуправления к постепенному ограничению его» (Потанин, с. 37), а в «Нуждах Сибири» с восхищением описывал уральскую казачью общину, где земли и угодья находились «в нераздельном пользовании» ста тысяч человек и общинное управление «мешает появлению капиталистических парвеню» (с. 122). В 1906 году русские либералы-государственники получили своего Лердо: указ Столыпина позволил крестьянам выходить из общины и закреплять наделы в личную собственность. Дальнейшее мы знаем: через двадцать с небольшим лет общину добила уже не либеральная, а большевистская модернизация, для которой коллективное хозяйство было делом государства, а не самих крестьян. Мы предполагаем, что именно здесь лежит одно из главных совпадений латиноамериканской и сибирской истории: и либеральный, и государственно-социалистический прогресс видели в общине препятствие, а защищали её либо консерваторы, которым она была нужна как нижняя ступень старого порядка, либо народники и анархисты, видевшие в ней ступень будущего.

Самым последовательным и самым знаменитым наступлением либералов на корпорации стала мексиканская Реформа. Закон, который ударил одновременно по церкви и по индейским общинам, написал либеральный министр финансов, а проводил в жизнь президент-сапотек.

4.2. Закон Лердо и Хуарес

Бенито Хуарес родился в 1806 году в сапотекской деревне Гелатао в горах Оахаки. Он рано осиротел, пас овец и до двенадцати лет почти не говорил по-испански. Двенадцатилетним мальчиком он ушёл в город Оахаку, нанялся в ученики к переплётчику, который выучил его грамоте и помог поступить в семинарию, затем окончил основанный либералами Институт наук и искусств, стал адвокатом, губернатором штата, министром юстиции и председателем Верховного суда (Альперович, Слёзкин, с. 238). Ни один мексиканец XIX века не поднялся так высоко с самого низа колониальной лестницы, и мало кто сделал больше для того, чтобы та община, из которой он вышел, перестала существовать. Хуарес — национальный герой Мексики, его имя носят улицы, города и аэропорт столицы, и он заслужил это, возглавив сопротивление французской интервенции. Но в этой книге нас интересует другая его роль — роль президента, проводившего в жизнь закон, который в истории индейской Мексики значит не меньше, чем завоевание.

Закон, изданный 25 июня 1856 года, назывался длинно: «О лишении права владения сельскими и городскими имениями, принадлежащими гражданским и церковным корпорациям». По имени автора, министра финансов Мигеля Лердо де Техады, его называют законом Лердо. Он запрещал корпорациям владеть недвижимостью. Земли и дома, которые церковь или другая корпорация сдавала в аренду, переходили в собственность арендаторов за выкуп, а если арендатор не выкупал их в течение трёх месяцев, их продавали с торгов любому покупателю. Против церкви закон был задуман прямо: её поместья и городские дома составляли огромную часть недвижимости страны, и либералы рассчитывали, что, разделённые между множеством мелких хозяев, они создадут в Мексике класс независимых собственников, подобный американским фермерам. Но, как признаёт советский учебник, «под действие „закона Лердо“ были подведены индейские общины, которые рассматривались как „гражданские корпорации“» (Альперович, Слёзкин, с. 238). Закон оставлял общинам лишь здания, служившие общим нуждам, и выгоны-эхидо, а пахотные земли общего пользования подлежали разделу на частные участки. Через полгода, 5 февраля 1857 года, запрет на владение недвижимостью «духовным и светским корпорациям» вошёл в 27-ю статью новой конституции. Конституция провозглашала свободу слова, печати и совести, отменяла сословные суды и наследственные титулы — и гарантировала неприкосновенность частной собственности (с. 238).

Церковь ответила отлучением всех, кто присягнёт конституции или купит церковные земли, консерваторы — мятежом, и в 1858 году началась Война за реформу. Хуарес, ставший по конституции президентом, два года руководил страной из Веракруса и в июле 1859 года издал «Законы о реформе»: церковные имущества национализировались без выкупа, монашеские ордена распускались, вводились гражданский брак и свобода вероисповедания (с. 239). В 1861 году либералы победили. Каков был итог? Здесь советские авторы, при всей любви к Хуаресу, говорят правду: «Революция не покончила с крупным землевладением. Напротив, оно ещё более окрепло за счёт церковных и общинных земель» (с. 239). Церковные поместья продавали не мелкими участками, а целиком, и они перешли к светским латифундистам; секуляризация, пишут Альперович и Слёзкин, «по существу привела лишь к перераспределению земли между различными категориями латифундистов» (с. 245–246). Фермеров не появилось. Появились новые гасиенды.

С индейскими общинами процесс шёл медленнее и разнообразнее, чем с церковью. Многие общины сопротивлялись: подавали прошения и иски, оформляли свои земли как совместную собственность нескольких десятков «совладельцев», чтобы формально выполнить закон и сохранить землю нераздельной, а где это не помогало — восставали. Местами раздел проходил без больших потерь, а местами частные наделы за несколько лет скупали у новых собственников соседние гасиендадос, торговцы и ростовщики. Историки, изучавшие отдельные деревни, показывают, что раздел разрушал общину и изнутри: самые богатые и грамотные её члены — сельские старшины, торговцы, те, кто умел обращаться с бумагами, — получали лучшие участки и скупали наделы соседей, и внутри вчерашней общины вырастали свои собственники и свои батраки. Это та самая иерархия по богатству, о которой писал Кропоткин, только возникающая не извне, а изнутри, как только общий земельный порядок объявлен вне закона. Сам Хуарес, будучи губернатором Оахаки, уже в 1850 году отправлял войска против сапотексов Хучитана, отстаивавших общинное право на соляные озёра.

Полностью закон Лердо заработал уже после Хуареса, при Порфирио Диасе. Декрет 1883 года о колонизации позволил частным компаниям размежёвывать «пустующие» земли и получать за это треть размежёванного, а остальное покупать за бесценок, причём «пустующими» объявлялись все земли, владельцы которых не располагали документами, подтверждавшими их права». В 1890 году правительство предписало окончательно разделить общинные земли между общинниками, и «вскоре и эти участки попали в руки крупных землевладельцев или иностранных компаний» (Альперович, Слёзкин, с. 246). К 1910 году, по распространённым оценкам, подавляющее большинство сельских семей Мексики не владело никакой землёй. Мы ещё вернёмся к этой истории, когда будем говорить о мексиканской революции. Пока заметим одну вещь. В 1911 году Эмилиано Сапата в «Плане Аялы» потребовал вернуть деревням земли, отнятые у них «под сенью продажного правосудия», и конституция 1917 года восстановила эхидо — в своей 27-й статье, той же самой, которая в конституции 1857 года запрещала общинам владеть землёй. А в 1992 году, когда правительство Салинаса переписало эту статью снова, чтобы позволить продажу эхидальных земель, это стало одним из поводов для восстания сапатистов в Чьяпасе. Спор, начатый законом Лердо, не закончен до сих пор.

Сибирский читатель, знающий областников, увидит в судьбе Хуареса знакомую развилку. Потанин писал в «Областнической тенденции», что «туземная интеллигенция, вышедшая из местного крестьянства, должна ставить себе за священный долг служение своему родному крестьянству» (Потанин, с. 130), и мыслил это служение как защиту крестьянского мира, его земли и самоуправления от центра. Хуарес тоже вышел из общины и тоже считал, что служит своему народу, — но служил ему так, как понимало служение либеральное государство: выводя индейца из общины в граждане-собственники. Мы предполагаем, что это одна из главных ловушек всякой модернизации на окраине. Человек, поднявшийся снизу по лестнице образования, слишком часто усваивает взгляд тех, кто эту лестницу построил, и начинает видеть в мире, из

которого вышел, только отсталость. Советская история Сибири знает много таких биографий: национальные кадры, выученные в Ленинграде и Москве, возвращались в свои стойбища и улусы, чтобы проводить коллективизацию, оседание и борьбу с «пережитками». Вопрос не в том, откуда родом реформатор, а в том, чей взгляд он принёс с собой и спросил ли он тех, кого реформирует.

Мексиканская Реформа была самой последовательной, но не самой жестокой. В Андах, где индейские общины составляли большинство сельского населения, а государство жило за счёт их подати, наступление на общину шло без либерального пафоса и без великих конституций — откровенным грабежом, под началом каудильо, который продавал общинные земли целыми провинциями.

4.3. Боливия и Перу: распродажа общинных земель при Мельгарехо и после

Галеано пересказывает историю, которую в Боливии рассказывают уже полтора века. Диктатор Мариано Мельгарехо будто бы заставил британского посланника, отказавшегося выпить местной чичи, выпить целую бочку шоколада, а потом провёз его по улицам Ла-Паса задом наперёд на осле. Королева Виктория, узнав об этом, велела принести карту, перечеркнула Боливию и объявила: «Боливии больше не существует» (Галеано, с. 211). Историки считают этот рассказ легендой, но его живучесть понятна. В ней Мельгарехо — грубый, пьяный, непредсказуемый солдат, но всё-таки защитник национального достоинства от надменной империи. Для индейцев Боливии он остался в памяти другим. Именно при нём республика впервые попыталась одним ударом отнять у андских общин их землю. Чтобы понять, почему это случилось при Мельгарехо и почему его наследники довели дело до конца уже без него, нужно сначала понять, на чём держались андские республики после независимости.

Они держались на индейской подати. Боливар, как мы видели, отменил трибuto, но вскоре его пришлось восстановить под новым именем — «индейского взноса» (*contribución indígenal*), и в Боливии он десятилетиями давал государству, по оценкам историков, около трети всех доходов, больше, чем таможня или рудники. Андские общины, айлью, понимали эту подать по-своему. Британский историк Тристан Платт назвал это отношение «пактом взаимности»: община платит государству, а государство признаёт её право на землю. Пока казна жила за счёт индейцев, она не могла позволить себе их разорить. Указы о разделе общинных земель издавались и откладывались, раздел начинался и прекращался, потому что разорённая община перестала бы платить. Москва, как мы писали во втором томе, запрещала «разорять ясачных людей» по той же причине: мёртвый или убежавший данник следующей зимой соболя не принесёт. Защита общины держалась не на правах человека, а на интересах казны, и, как только у казны появлялся другой источник дохода, защита кончалась.

В Перу другой источник появился раньше. В 1840-е годы страна начала продавать в Европу гуано — птичий помёт с прибрежных островов, ценнейшее удобрение эпохи, — и доходы от него быстро превысили всё, что давали индейцы. В 1854 году генерал Рамон Кастилья, возглавив восстание против президента Эченике, отменил индейскую подать вместе с рабством, и народ прозвал его «Освободителем» (Альперович, Слёзкин, с. 173). Мариатеги тоже числит эту меру среди либеральных заслуг Кастильи (Мариатеги, с. 111). Но у освобождения была оборотная сторона. Ещё раньше, в 1852 году, Перу приняло гражданский кодекс, который, по словам цитируемого Мариатеги историка, «подтвердил упразднение индейской общины» и признал захват бесхозной земли законным способом её приобрести (с. 111). Община перестала существовать для закона как собственник, а с отменой подати перестала быть нужна и казне. С этого времени ничто, кроме собственного упорства, не мешало соседним *гасиендадос* — тем, кого в Перу называли *гамоналами*, — расширять свои владения за её

счёт. Когда в 1866 году правительство попыталось ввести новый подушный налог, в Уанкане на берегу Титикаки поднялось восстание, которое возглавил метис Хуан Бустаманте, и его подавили. Перуанская община потеряла землю не за один год, а за десятилетия — тихо, через суды, долги и вооружённые наезды гамодалов.

В Боливии гуано не было, и пакт держался дольше. Его разорвал Мельгарехо. Бывший сержант, захвативший власть в 1864 году, нуждался в деньгах для армии и для своих сторонников. В 1866 году его правительство объявило общинные земли собственностью государства, а индейцам предложили в короткий срок выкупить у государства право на собственные поля. Тем, кто не успевал или не мог заплатить, земли продавали с торгов. Покупателями становились офицеры, чиновники, родня и приятели диктатора, торговцы Ла-Паса. За несколько лет с молотка пошли земли сотен общин на Альтиплано вокруг озера Титикака. Общины ответили восстаниями, и в 1869 году войска Мельгарехо устроили бойню у Уайчо на берегу Титикаки. Когда в начале 1871 года против диктатора поднялся Ла-Пас, на помощь восставшим пришли тысячи индейцев, и именно они громили отступавшие части Мельгарехо. Новое Учредительное собрание отменило его распродажи. Казалось, община победила.

Но через три года, в 1874 году, уже при законном гражданском правительстве, был принят закон, который называли «законом о разъединении» (*Ley de Exvinculación*). Он делал то же самое, что и Мельгарехо, только без бочек шоколада и без торгов в пользу родни диктатора. Закон отменял общину как юридическое лицо: отныне каждый индеец становился частным собственником своего надела, а значит, мог его продать, заложить или потерять за долги. С 1881 года по деревням поехали комиссии землемеров, чтобы составить новые описи земли и выдать индивидуальные титулы. К этому времени у боливийской казны тоже появился новый источник дохода. В 1870–1890-е годы на юге страны пережили новый бум серебряные рудники, их владельцы стали президентами, к рудникам протянули железную дорогу с тихоокеанского побережья, и индейская подать утратила прежнее значение. На Альтиплано начался настоящий захват земли. Новые гасиенды росли на бывших общинных полях, а вчерашние общинники становились на них колонами, отрабатывавшими право жить на своей земле. То, что не удалось грабителю, удалось закону.

У этой истории было продолжение, которое прямо связывает её с нашей прошлой главой о федерализме. В 1898 году в Боливии началась гражданская война между консерваторами Сукре и либералами Ла-Паса, которые выступали под знаменем федерализма и требовали перенести столицу в свой город. Либералы позвали на помощь индейцев Альтиплано. Их вождь Пабло Сарате, принявший имя Вилька, поднял десятки тысяч аймара, и они рассчитывали, что победа либералов вернёт им землю и самоуправление. Индейцы сражались и за себя: в деревне Мохоса они перебили целый отряд солдат, хотя те были из союзной им армии, а в других местах создавали собственные органы власти. Весной 1899 года либералы победили. Их вождь Хосе Мануэль Пандо сразу же арестовал Вильку и его командиров, против участников событий в Мохосе устроили показательный процесс, а самого Вильку, по общепринятой версии, несколько лет спустя убили «при попытке к бегству». Федерализм тоже был забыт: столица фактически переехала в Ла-Пас, и победители больше не вспоминали об автономии департаментов. Это ещё один пример того, о чём мы писали применительно к Ла-Плате и Центральной Америке. Регионализм местной элиты охотно опирался на общины, пока шла война, и отказывал им во всём, как только побеждал. Революцию начинают снизу, а заканчивают сверху.

Мы предполагаем, что андская история XIX века позволяет уточнить закон, который мы вывели во втором томе. Судьба народа зависит не только от того, насколько другим нужна его земля, но и от того, насколько государству нужен его труд или его подать. Пока андская община платила, её грабили, но не уничтожали, как Москва грабила, но не уничтожала ясачных. Как только казна нашла себе другую ренту — гуано в Перу, серебро в Боливии, — община стала не источником дохода, а помехой, и её земля превратилась в товар. Сибирь знает этот

переход: пушная рента кончилась, и земля коренных народов, которую прежде оставляли им ради ясака, стала резервом для переселенцев. К этому мы вернёмся в конце главы. Мариатеги, видевший последствия своими глазами, ответил на либеральную историю общины твёрдо: «Мы защищаем индейскую общину отнюдь не во имя какой-то абстрактной справедливости или из-за сентиментальных соображений приверженности к традициям». Общинная собственность в Перу, писал он, «не является примитивной экономической формой, которую постепенно заменила прогрессивная экономическая форма», — общины просто «были лишены своих земель» латифундиями. А там, куда пришла железная дорога, община «стихийно превратилась в кооператив» (Мариатеги, с. 123).

Андские республики разрушали общину откровенно, иногда руками каудильо, иногда руками землемеров. В Колумбии, где индейцы были меньшинством, а их общинные земли — ресгуардо — лежали в основном на юге страны, тот же процесс растянулся почти на столетие и шёл через десятки законов, отменявших друг друга, — и именно там индейцы нашли способ не только сопротивляться, но и выиграть.

4.4. Колумбийские ресгуардо

Слово «ресгуардо» по-испански значит «защита», «охрана». Так в колониальной Новой Гранаде называли земли, которые корона в XVI–XVII веках закрепила за индейскими общинами, чтобы отгородить их от захвата испанскими поселенцами. Ресгуардо принадлежало общине целиком, его нельзя было продать, а управлял им выборный индейский совет — кабиљдо — во главе с губернатором. За это индейцы платили подать и отрабатывали повинности. Это был тот же колониальный порядок «двух республик», о котором мы писали в начале книги, со всеми его противоречиями: защита и опека, право на землю и подчинённое положение. Но ресгуардо оказались необычайно живучими. Сегодня, через двести лет после независимости, ресгуардо по закону занимают около трети территории Колумбии, и колумбийское индейское движение считается одним из самых сильных и организованных на континенте. Чтобы понять, как это получилось, нужно проследить столетний спор о ресгуардо, в котором либералы, консерваторы и сами индейцы много раз меняли позиции.

Республика начала с того же, что и Боливар в Перу. Уже конгресс в Кукуте в 1821 году постановил разделить земли ресгуардо между семьями общинников в течение пяти лет и сделать индейцев полноправными гражданами — с отменой подати, но и с отменой защиты. Пять лет растянулись на десятилетия, и закон о разделе переиздавали снова и снова — в 1830-е, 1840-е, 1850-е годы. В 1850 году либеральное правительство Хосе Иларио Лопеса передало решение провинциальным властям и разрешило индейцам свободно продавать свои доли. Советский учебник признаёт, что в большинстве случаев участки «скупали за бесценок латифундисты и спекулянты», а индейцы превращались в издольщиков, арендаторов и батраков (Альперович, Слёзкин, с. 192). Сильнее всего удар пришёлся по центру страны, по высокогорным плато вокруг Боготы и Тунхи, где жили потомки муисков — народа, создавшего до испанцев одно из самых развитых обществ Южной Америки. Здесь ресгуардо были в основном ликвидированы к концу XIX века, земли перешли к гасиендам, а сами общинники растворились среди безземельных крестьян-метисов. Официальная статистика перестала их видеть: в центральной Колумбии исчезли не люди, а индейцы как категория, у которой есть права на землю. Лишь в наши дни некоторые общины муисков снова добиваются признания.

На юго-западе, в горах Каука и Нариньо, история пошла иначе. Здесь индейцев было больше, их общины — наса (паэсы), мисак (гуамбиано), пасто — были крепче, а сама провинция Каука в середине XIX века стала одним из центров гражданских войн. Американский историк Джеймс Сандерс показал, как в Кауке бедняки торговались с обеими партиями: бывшие рабы и чёрные крестьяне в основном поддерживали либералов, которые отменили раб-

ство, а индейские общины чаще шли с консерваторами, обещавшими сохранить ресгуардо, — но и те и другие ставили своим союзникам условия и требовали за участие в войнах конкретных уступок. Когда в 1863 году колумбийские радикалы провели конституцию Рионегро, превратившую страну в Соединённые Штаты Колумбии, каждый штат получил право сам решать земельный вопрос, и законодательство Кауки оставило ресгуардо в силе. Мы уже не раз видели, как федерализм служил местным хозяевам. Здесь он неожиданно дал шанс общинам — потому что в Кауке общины были силой, с которой местной элите приходилось считаться.

В 1886 году радикальный федерализм кончился. Рафаэль Нуньес провёл «Возрождение» (Регенерасьон): новая конституция превратила штаты в департаменты с назначаемыми губернаторами, католицизм снова стал государственной религией, а конкордат 1887 года вернул церкви право на образование и церковный брак и обязал государство выплатить ей компенсацию за экспроприированное имущество (Альперович, Слёзкин, с. 197). Победили консерваторы. И именно этот консервативный режим в 1890 году принял закон № 89, который по сей день остаётся одним из самых странных документов в истории индейского права. Уже его название говорит само за себя: «О способе, которым должны управляться дикари, постепенно приводимые к цивилизованной жизни». Закон отдавал «диких» индейцев лесов под власть католических миссий, а индейцев гор приравнивал к несовершеннолетним, которые не могут сами распоряжаться землёй. Но тот же закон признавал выборные кабийдо, их власть над внутренними делами общины и общинную собственность на ресгуардо, а продажу земель ресгуардо без особого разрешения объявлял незаконной. Перед нами та же картина, что в Гватемале при Каррере: консервативная опека, унижительная по форме, защищала общину лучше, чем либеральное равенство.

Защита на бумаге сама по себе ничего не решала. В начале XX века в Кауке гасиендадос захватили значительную часть земель наса, и общинники, оставшиеся на них, превратились в террахерос — арендаторов, которые за право жить на своей бывшей земле отрабатывали на хозяина несколько дней в неделю. Против этого в 1910-е годы поднялся Мануэль Кинтин Ламе, сын наса-террахеро, выучившийся грамоте почти самостоятельно. Он призывал общинников перестать отрабатывать террахе, восстанавливать кабийдо и возвращать захваченные земли, а когда его движение — «Кинтинаду» — подавили, он продолжал борьбу в судах. Ламе арестовывали, по его собственному счёту, больше сотни раз, но главным его оружием оставался закон № 89 и колониальные королевские грамоты на земли ресгуардо, которые он разыскивал в архивах. Он написал книгу «Мысли индейца, который вырос в колумбийской сельве» и до смерти в 1967 году оставался в глазах властей бунтовщиком, а для наса — учителем. В 1971 году общины Кауки создали Региональный совет индейцев Кауки (CRIC) — первую крупную самостоятельную индейскую организацию Колумбии. Его программа начиналась с тех же пунктов, что у Ламе: вернуть земли ресгуардо, укрепить кабийдо, отказаться от террахе, защищать собственный язык и культуру. Совет не просил землю у государства, а занимал её, и за двадцать лет общины вернули себе десятки тысяч гектаров. Конституция 1991 года признала ресгуардо коллективной собственностью, которую нельзя продать, заложить или отнять, и дала индейским территориям право на самоуправление. Эту победу оплатили кровью: сотни руководителей общин были убиты помещиками, армией, партизанами и наркоторговцами, и это продолжается до сих пор.

Мы предполагаем, что колумбийская история позволяет увидеть в общине не только жертву, но и субъекта. Индейцы Кауки сделали то, чего не смогли сделать общины в Мексике или Боливии: они превратили колониальное право опеки, придуманное для того, чтобы управлять «дикарями», в инструмент собственного самоуправления. Сибирскому читателю эта стратегия знакома. Устав Сперанского 1822 года тоже был опекой: он делил народы на «оседлых, кочевых и бродячих», а самоуправление, которое он давал, было дешевле прямого управления и подчинено губернатору. Но именно на его учреждения — бурятские степные думы, ино-

родные управы, алтайские дючины — Потанин предлагал опереться, когда писал о будущих национальных думах для бурят, казахов и алтайцев (Потанин, с. 114–115). А во втором томе мы видели, как малые народы Сибири сопротивлялись «правилами, договором, упорством», отстаивая право на свой сход и свой порядок. Институт, созданный сверху для управления, может стать опорой самоуправления снизу, если те, кого им управляют, сумеют его присвоить. Это не делает опеку справедливой. Но это показывает, что даже в чужом праве можно найти точку опоры, если община сохранила себя и не забыла, что земля — её.

Мексика, Анды и Колумбия знали борьбу за общину в судах, на выборах и в гражданских войнах. На полуострове Юкатан в середине XIX века эта борьба превратилась в войну, которая длилась больше полувека, и на какое-то время майя действительно вернули себе свою землю — без опеки и без чужих законов.

4.5. Кастовая война на Юкатане (1847–1901)

В 1850 году в глухом лесу на востоке Юкатана, у колодца в пещере, повстанцы-майя нашли крест, вырезанный на стволе дерева. Вскоре крест заговорил. На языке майя он обращался к своим «детям», называл их избранным народом, обещал победу и приказывал продолжать войну против белых. Голос креста, как полагают историки, принадлежал чревоушателю, которого привёл к святилищу один из вождей восстания, а позже кресту служили писцы, передававшие его послания письменно. Но вокруг Говорящего креста выросло то, чего Латинская Америка после конквисты почти не знала: независимое индейское общество, которое больше полувека жило по собственным законам, на собственной земле и с собственной армией. Его столица называлась Чан-Санта-Крус — «Малый Святой Крест», а его людей называли кру-соб, «люди креста». Мексиканская армия взяла этот город только в 1901 году. Война, которую белые Юкатана называли Кастовой, — самое долгое и самое успешное индейское восстание XIX века на континенте.

Её начали не индейцы, а белые. Юкатан был отдалённой и почти изолированной от центра Мексики провинцией с собственной креольской элитой Мерида и Кампече, и в 1830–1840-е годы эта элита вела свою регионалистскую борьбу. Юкатанские федералисты дважды объявляли полуостров независимым от централистской Мексики, а чтобы воевать с мексиканскими войсками, вооружали индейцев-майя и обещали им за службу снизить церковные поборы и подушную подать. Обещания не выполнили. Одновременно на юго-востоке полуострова росли сахарные и скотоводческие гасиенды. Власти Юкатана продавали «пустующие» государственные земли — те самые леса, где майя по старинке вели подсечное земледелие, сводя участок под кукурузное поле-мильпу и через несколько лет оставляя его зарастать. С точки зрения закона эти леса были ничьими. С точки зрения майя это была их земля, на которой они жили поколениями, и без права уходить с мельпой на новое место их хозяйство было невозможно. Мы уже видели этот механизм в Мексике и в Андах. На Юкатане он соединился с другим: у майя теперь было оружие и опыт войны.

В июле 1847 года власти Вальядолида, раскрыв заговор, расстреляли одного из индейских вождей, Мануэля Антонио Ая. Через несколько дней другой вождь, Сесилио Чи, напал на городок Тепич и перебил его белых жителей, а Хасинто Пат поднял индейцев южнее. Восстание охватило восток и юг полуострова с быстротой, которой никто не ожидал. К маю 1848 года повстанцы контролировали около четырёх пятых Юкатана, взяли Вальядолид и Пето и стояли в нескольких десятках километров от Мерида, где власти уже готовили эвакуацию. И тут армия майя остановилась и начала расходиться. Самое известное объяснение пересказывают все историки войны: появились летучие муравьи — знак начала сезона дождей, и крестьяне ушли сажать кукурузу, без которой их семьи умерли бы с голоду. Объяснение, может быть, слишком красивое, но суть его верна. Это была армия общинников, у которых не было

ни склада зерна, ни государства, которое кормило бы солдат, и эта сила одновременно была и её слабостью.

Как повела себя юкатанская элита, которая ещё вчера требовала от Мексики суверенитета? В марте–апреле 1848 года губернатор Юкатана предложил суверенитет над полуостровом Соединённым Штатам, Англии и Испании — любой державе, которая пришлёт войска против индейцев. Конгресс США всерьёз обсуждал этот вопрос и отказался только потому, что тем временем завершилась война с Мексикой. Тогда Юкатан в августе 1848 года вернулся в состав Мексики в обмен на оружие и деньги для войны. Регионализм креольской верхушки, как и в Бразилии, оказался ограничен страхом перед собственными низами. Свободу края от центра можно было продать кому угодно, лишь бы удержать индейцев. Война стала войной на истребление с обеих сторон. Взятых в плен майя юкатанские власти с 1848 года продавали на Кубу — формально по контрактам, фактически как рабов, — и торговля продолжалась больше десяти лет. Республика, отменившая рабство в 1829 году, продавала своих граждан на рабовладельческий остров.

Белые отвоевали запад и центр полуострова, но восток и юг остались за повстанцами. Здесь, вокруг Говорящего креста, и сложилось общество крусоб. Оно было теократическим и военным: во главе стояли «патрон креста» и военные командиры, мужчины несли службу в гарнизоне столицы по очереди, а приказы креста не обсуждались. Крусоб торговали с британским Гондурасом — нынешним Белизом, — продавая лес и покупая порох и ружья, и английские купцы по сути были их единственными партнёрами в мире. Идеализировать это общество не стоит. Крусоб держали захваченных белых пленников как слуг и невольников, жестоко карали несогласных, воевали с теми группами майя, которые заключили с Мексикой мир, — так называемыми «мирными». Но около полувека в лесах востока Юкатана существовала земля, на которой не было ни гасиенд, ни подати, ни долгового рабства, и её жители сами решали, как жить.

Конец пришёл тогда, когда Юкатан стал нужен мировому рынку. В последней трети XIX века на северо-западе полуострова начался бум хенекена — агавы, из волокна которой делали шпагат для сноповязалок, ставших главными машинами американских и канадских ферм. К 1910 году Мексика стала крупнейшим в мире производителем хенекена (Альперович, Слёзкин, с. 247). Плантации захватили земли последних свободных общин запада, а работали на них майя, опутанные наследственным долгом. Галеано пишет, что в начале века на плантациях «50 королей хенекена» трудилось 100 тысяч индейцев-рабов, и среди них — яки, которых правительство Диаса выселяло с их земель на севере Мексики и депортировало на Юкатан, где две трети из них, по его данным, погибли в первый же год (Галеано, с. 82). Долговое рабство, напоминает он, «было реально существующей системой труда на хенекеновых плантациях Юкатана», а покупатель волокна, американский трест, «имеет самое прямое отношение к гибели индейцев майя и яки» (с. 172). В 1901 году генерал Игнасио Браво взял Чан-Санта-Крус, восток полуострова выделили в федеральную территорию Кинтана-Роо и раздали концессии на лес и чикле. Отдельные отряды крусоб сопротивлялись до 1930-х годов, а в деревнях их потомков кресты до сих пор охраняют по старому обычаю. Долговое рабство на Юкатане отменила только революция, в 1915 году.

Здесь, в конце главы о том, как либеральная Латинская Америка отнимала у общин землю, нам пора вернуться в Сибирь. Слово «пустующие» — по-испански *baldíos* — у сибирского читателя вызовет в памяти другое слово: «излишки». Как мы писали во втором томе, при массовом переселении конца XIX — начала XX века землю коренных народов мерили «нормой», а всё остальное объявляли излишками и передавали переселенцам; буряты Иркутской губернии за 1877–1916 годы потеряли больше половины своих земель. Потанин видел этот процесс своими глазами и описал его в «Нуждах Сибири» с той же точностью, с какой Галеано описывал Юкатан. Чиновник, нарезая участок переселенцам, отрезал у старообрядче-

ской деревни в тайге все её расчищенные поля и оставил ей только усадьбы, и это, писал Потанин, «точная копия той судьбы, которая постигает инородческие племена в их столкновении с переселенцами; разница только в том, что история обезземеления инородцев разыгрывается в грандиозных размерах». У кочевника, продолжал он, нет межевых знаков, его юрта не кажется переселенцу знаком владения, и «под конец оказывается, что вся территория, которая когда-то была занята инородцами, оказывается в руках русских, а инородцы оказываются загнанными в пустыню». Летом 1907 или 1908 года западные дючины алтайцев послали министру внутренних дел телеграмму, смысл которой Потанин передал так: «Нам нет места на земном шаре» (Потанин, с. 110–112). Мильпа майя и кочевье алтайца одинаково не укладывались в межевую книгу, и потому одинаково становились «пустующей» землёй.

Мы предполагаем, что есть и ещё одно сходство. За три года до потанинской статьи, в 1904 году, на Алтае, в долине Теренг, возникло религиозное движение, которое русские называли бурханизмом, а сами алтайцы — Ак Жан, «Белой верой». Пастуху Чету Челпанову и его приёмной дочери Чугул явился белый всадник, вестник возвращения Ойрот-хана, и тысячи алтайцев собрались в долину молиться. Движение было мирным, но местные власти и русские крестьяне-соседи увидели в нём мятеж, и моление разогнали, а его участников судили. Как и Говорящий крест, Белая вера родилась там, где у народа отнимали землю и где старая жизнь больше не имела защиты. В обоих случаях новая религия соединила старые верования с элементами христианства, и в обоих случаях люди искали в ней не бегства от мира, а основу для того, чтобы остаться собой на своей земле. Различие тоже показательно. Майя были большинством на своём полуострове и могли воевать полвека. Алтайцы были меньшинством внутри переселенческой волны, и их сопротивление не могло стать войной — только верой, телеграммой и упорством.

Вторая половина XIX века отняла у общин Латинской Америки землю во имя свободы собственности. Следующие десятилетия показали, для чего эта земля была нужна: гуано и селитра, каучук, кофе, бананы и хенекен потекли на мировой рынок, и вместе с экспортным бумом в Латинской Америке сложился порядок, который позднее назовут внутренним колониализмом.

Глава 5. Экспортный бум и внутренний колониализм (1870–1914)

5.1. Гуано и селитра; Тихоокеанская война (1879–1883)

Мариатеги начинает рассказ о перуанском XIX веке со сравнения, которое трудно забыть. В борьбе за Перу «на долю таких прозаических и грубых вещей, как гуано и селитра, выпала та же роль, которую в более рыцарские и менее материалистические времена играли золото и серебро». Испании Перу было нужно как поставщик драгоценных металлов, Англии — как поставщик удобрений. «Но различие в подходе не свидетельствует о различии в побуждениях. Побуждения не менялись — менялась эпоха» (Мариатеги, с. 61–62). Серебряная гора Потоси, с которой мы начали эту книгу, сменилась горами птичьего помёта на скалистых островах у перуанского берега и белыми полями селитры в пустыне Атакама. Порядок, при котором рента уходит за океан, остался прежним, только теперь его называли свободной торговлей и независимостью.

История эта начинается в Европе. В середине XIX века население Старого Света быстро росло, а истощённые за столетия поля уже не могли его прокормить. В 1840-е годы английские химики обнаружили, что гуано — помёт морских птиц, тысячелетиями копившийся на бездождевых островах у берегов Перу, — лучшее удобрение из всех известных. Вслед за ним в ход пошла селитра из пустынь Тарапаки и Антофагасты (Галеано, с. 197–198). Добыча гуано не требовала почти ничего: его просто сгребали лопатами на островах, «чуть ли не у бортов приплывших за ними судов», и грузили в трюмы. Работали на островах китайские кули, о которых мы уже писали, и заключённые; люди задыхались от едкой пыли и кончали с собой. Доходы шли перуанскому государству и узкому кругу лимских «консигнатариев», которые получали право продажи. Мариатеги описывает результат одной фразой: «Страна почувствовала себя богатой. Государство проживало своё богатство, не заботясь о том, насколько его хватит. Оно пустило с молотка всё, что имело, заложив своё будущее английским финансистам» (Мариатеги, с. 62). На деньги от гуано Перу отменило индейскую подать и выкупило рабов у хозяев, о чём мы писали раньше, строило железные дороги в Андах и брало новые займы под будущие поставки. К концу 1860-х годов, напоминает Галеано, расходы и долги государства намного превышали всё, что оно продавало за границу (Галеано, с. 198). Мариатеги видел в этих годах и другое: гуано и селитра создали в Перу «первые прочные элементы торгового и банковского капитала», но эта буржуазия выросла из старой аристократии, из потомков энкомендеро, и вместо того, чтобы сменить колониальный порядок, срослась с ним (с. 63).

Селитра изменила политическую карту. Её залежи лежали в пустыне, где границы трёх стран никто толком не проводил, потому что земля там ничего не стоила. Добывали селитру в основном чилийские компании с английским капиталом, работая и на перуанской, и на боливийской территории. В 1873–1875 годах Перу объявило селитряные месторождения Тарапаки государственной собственностью, выплатив владельцам компенсацию долговыми бонами (Альперович, Слёзкин, с. 161). Боливия, тоже стоявшая на грани банкротства, повысила налог на чилийскую селитряную компанию в Антофагасте, а когда та отказалась платить, назначила её имущество к продаже с торгов. 14 февраля 1879 года, в день аукциона, в Антофагасте высадились пятьсот чилийских солдат. Так началась Тихоокеанская война, которую в Латинской Америке недаром называют и Селитряной (с. 161). Чили объявила войну Боливии и Перу, на море её флот после нескольких месяцев борьбы взял верх, и к 1881 году чилийская армия вошла в Лиму. По миру 1883 года Перу уступило Тарапаку, Боливия — всё своё побережье и навсегда стала страной без выхода к морю.

У войны была и подземная сторона, о которой не пишут в школьных учебниках. В горах центрального Перу, когда регулярная армия была разбита, против чилийских оккупантов поднялись индейские крестьяне. Генерал Андрес Авелино Касерес вёл с ними партизанскую войну, и общины Хунина и Аякучо воевали не только с чилийцами, но и с теми перуанскими гасиендадос, которые сотрудничали с оккупантами. Американская исследовательница Флоренсия Мэллон показала, как в этих деревнях родился крестьянский патриотизм, которого не знала лимская элита. После войны Касерес стал президентом — и его войска подавили тех самых общинников, которые не хотели возвращать захваченные у коллаборационистов гасиенды. Патриотизм снизу снова оказался нужен, пока шла война, и опасен, когда она кончилась.

Кому досталась победа? Галеано отвечает, опираясь на чилийских историков. В 1880 году селитра давала чилийской казне 5 процентов доходов, через десять лет — больше половины (Галеано, с. 200). Но сами месторождения к этому времени оказались в руках англичан. Пока шла война, перуанские боны, которыми Перу расплатилось с прежними владельцами селитры, обесценились в десять раз, и британские дельцы во главе с Джоном Томасом Нортом скупили их за бесценок, причём на кредиты чилийских банков. А в 1881 году чилийское правительство решило вернуть месторождения держателям бонов. Норт, приехавший в Вальпараисо в 1866 году с десятью фунтами в кармане, стал «королём селитры»: его компании платили акционерам до 40 процентов дивидендов, в его лондонском доме бывали лорды, а сам он танцевал на своих балах в костюме Генриха VIII. В это время рабочие его «селитряного королевства» работали по 16 часов в сутки без выходных и вместо жалованья получали жетоны, которые принимали только лавки и трактиры компании, причём вдвое дешевле номинала (Галеано, с. 200–201). Чили завоевала пустыню, но рента с неё ушла в Лондон. Советский учебник называет войну «Селитряной» и пишет о британских кредиторах Чили, которые с первых её дней поддерживали чилийское правительство, отложив получение платежей по займам: «Солидарность эта была далеко не альтруистической» (Альперович, Слёзкин, с. 161–162).

В 1886 году президентом Чили стал либерал Хосе Мануэль Бальмаседа. Он строил дороги, школы и железные дороги, ограничивал монополию английской железнодорожной компании в Тарапаке и в 1888 году объявил, что хочет передать селитру в руки чилийских компаний и не будет продавать англичанам государственные селитряные земли. В 1891 году против него восстал конгресс при поддержке флота, началась гражданская война, и, по словам Галеано, Норт и его компаньоны щедро финансировали оппозицию. Победённый Бальмаседа застрелился в аргентинском посольстве. Английский посланник сообщал в Лондон, что британская община в Чили «не скрывает своего удовлетворения падением Бальмаседы» (Галеано, с. 201–202). Советский учебник, как и Галеано, видит в Бальмаседе прогрессивного национального деятеля (Альперович, Слёзкин, с. 163). Современные историки, прежде всего британский историк Гарольд Блейкмор, считают, что роль Нортона в его падении преувеличена, а сама война была прежде всего конфликтом президента с олигархическим конгрессом. Мы не беремся решить этот спор. Важнее другое: Бальмаседа не собирался отдавать селитру ни рабочим пампы, ни государству — он хотел передать её чилийскому капиталу вместо английского. И в 1890 году, ещё при нём, войска подавили первую всеобщую забастовку рабочих селитряных работ.

Селитряная пампа стала колыбелью чилийского рабочего движения. Здесь возникли первые «общества взаимопомощи» и «объединения сопротивления», здесь работал печатник Луис Эмилио Рекабаррен, будущий основатель Коммунистической партии Чили, и здесь проповедовали первые чилийские анархисты. 21 декабря 1907 года в Икике тысячи бастующих рабочих с семьями, требовавшие платить жалованье деньгами, а не жетонами, собрались в школе Санта-Мария. Армия открыла огонь из винтовок и пулемётов. Число убитых до сих пор неизвестно: от нескольких сотен до двух тысяч человек. Сибирскому читателю этот сюжет слишком знаком. Через пять лет, в апреле 1912 года, на Ленских золотых приисках, принадлежавших

компании с английским капиталом, солдаты стреляли в бастующих рабочих, которые требовали человеческих условий, нормальной еды и отмены оплаты талонами в приисковых лавках. Погибли около двухсот семидесяти человек. Пустыня Атакама и тайга на Витиме, селитра и золото, Лондон в роли метрополии над обеими, жетоны вместо денег, солдаты на стороне компании — это одна и та же история, рассказанная на двух концах света.

Мы предполагаем, что сибирский читатель найдёт в истории гуано и селитры ещё и урок о ренте, который областники формулировали задолго до теории зависимости. Потанин в «Нуждах Сибири» требовал, чтобы Сибири был предоставлен «известный процент с доходов государственной казны от золотопромышленности» и с таможен на азиатской границе, и возмущался «челябинским переломом» железнодорожного тарифа, введённым, чтобы сибирский хлеб не конкурировал с хлебом метрополии на мировом рынке (Потанин, с. 116). Чили и Перу показывают, что вопрос не исчерпывается тем, остаётся ли рента в крае. Даже когда сырьё принадлежит «своей» стране, а не далёкому центру, рента может уйти к иностранному капиталу, к узкой верхушке консигнатариев или к «своим» компаниям, а рабочим пампы и приисков достаются жетоны и пули. И у такого богатства всегда есть срок годности. Мариатеги заметил, что потеря селитры показала Перу «с трагической силой опасность экономического процветания, основанного почти исключительно на обладании природным богатством», которое подвержено «постоянным изменениям в промышленности, вызванным к жизни открытиями и изобретениями» (Мариатеги, с. 64). Когда он писал эти слова, удар уже был нанесён: в 1909–1913 годах немецкие химики Габер и Бош научились получать азот из воздуха, и после Первой мировой войны чилийская селитра рухнула. Галеано видел в пустыне Тамаругаль брошенные посёлки, где из ста двадцати селитряных предприятий осталось одно, а единственной работой стала разборка мёртвых строений на доски и гвозди (Галеано, с. 203). Сибирский читатель, живущий в краю нефти и газа, может спросить себя, что останется на его земле, когда химики найдут замену и этому богатству.

Селитру и гуано добывали в пустыне, на краю мира, где почти не было коренных жителей, и катастрофа обрушилась прежде всего на рабочих. Следующий бум пришёл в леса Амазонии, где жили десятки народов, и там спрос мирового рынка на новое сырьё обернулся уничтожением целых племён.

5.2. Каучук и Путумайо

В Манаусе, городе в самом сердце Амазонии, за полторы тысячи километров от океана, стоит оперный театр с розовым фасадом и куполом, выложенным цветной черепицей из Эльзаса. Мрамор для него везли из Каррары, люстры — из Венеции, сталь — из Шотландии. Галеано пересказывает знаменитую историю о том, как на открытии театра за баснословный гонорар пел тенор Энрико Карузо, добравшись сюда по реке сквозь сельву (Галеано, с. 132). Историки давно выяснили, что Карузо в Манаусе никогда не пел. Но легенда пережила факты, потому что точно передаёт дух времени. В 1849 году в Манаусе жили пять тысяч человек, через полвека — семьдесят тысяч. Каучуковые бароны строили особняки из восточного дерева, носили костюмы от лучших портных Европы, посылали сыновей учиться в Англию, а бельё, по рассказам, отправляли стирать в Лиссабон (с. 132). Театр в джунглях стал символом каучукового бума. Мы расскажем о том, кто за него заплатил.

Каучук, загустевший сок дерева гевеи, индейцы Амазонии знали задолго до европейцев. Европа нашла ему применение только в XIX веке: в 1839 году Чарльз Гудьир научился вулканизировать резину, чтобы она не плавилась на жаре и не трескалась на морозе, а в конце века появились велосипед и автомобиль, которым были нужны шины. Мировой спрос взлетел. В 1890 году каучук давал Бразилии десятую часть экспортных доходов, через двадцать лет — сорок процентов, почти столько же, сколько кофе (Галеано, с. 131). Бразилия, Перу и Боливия

делили между собой леса, где росли каучуконосы, и не всегда мирно. Самые богатые каучуком земли лежали в боливийской провинции Акри. В 1902 году бразильские сборщики каучука, поселившиеся там, подняли восстание против боливийских властей, Бразилия ввела войска, и по договору 1903 года Боливия уступила около двухсот тысяч квадратных километров за два миллиона фунтов и обещание железной дороги (с. 131). Через двадцать лет после потери моря Боливия потеряла ещё и лес.

Каучуконосы не растут рощами, они разбросаны по лесу на десятки и сотни метров друг от друга, и плантацию из них в Амазонии устроить не удалось. Каучук приходилось собирать в диких лесах, обходя деревья по тропам, надрезая кору и собирая сок в чашки, а вечером сгущая его над дымом в тяжёлые шары. На эту работу нужны были тысячи рук. В Бразилии их дали крестьяне засушливого Северо-Востока. Страшная засуха 1877–1879 годов и следующие засухи погнали их в сельву, где их встречала система, которую называли «авиаменто», — снабжение в долг. Сборщик, серингейро, получал от хозяина участка в кредит дорогу, ружьё, муку, соль и инструменты и должен был расплачиваться каучуком, который хозяин принимал по своей цене. Долг рос быстрее добычи, а уйти с участка, не расплатившись, было нельзя. По оценке, которую приводит Галеано, во время каучукового бума от жёлтой лихорадки, малярии, бери-бери и голода погибло не меньше полумиллиона выходцев с Северо-Востока (Галеано, с. 130–131).

Там, где не было переселенцев из засушливых районов, каучук собирали индейцы. Самой страшной главой бума стала история реки Путумайо на границе Перу и Колумбии. Перуанский торговец Хулио Сесар Арана, начинавший с продажи соломенных шляп, к началу XX века превратился в хозяина огромной территории между реками Путумайо и Какета, где жили уитото, бора, андоке и другие народы. В 1907 году его фирма стала британской акционерной компанией — «Перуанской амазонской компанией» — с правлением в Лондоне, с английскими директорами и английскими акционерами. Система работала просто. Вооружённые отряды компании совершали набеги на индейские деревни, которые на местном языке назывались «корре-риас», захватывали людей и заставляли их сдавать каучук по норме. Не выполнившего норму порол бичом из тапирьей кожи до потери сознания, а за побег, сопротивление или просто для устрашения убивали, жгли, калечили, морили голодом. Надсмотрщиками служили в том числе завербованные с острова Барбадос британские подданные, а отряды «мучачос» набирали из самих индейцев, отнятых у своих семей в детстве. Мы повторяем эти подробности не для того, чтобы шокировать читателя, а потому, что без них история каучука превращается в историю театров и особняков.

Мир узнал о Путумайо благодаря двум людям. В 1909 году американский инженер Уолтер Харденбург, побывавший на Путумайо и арестованный людьми Араны, опубликовал в лондонском журнале «Правда» (Truth) серию статей под названием «Рай дьявола». Британское правительство, которому было неловко, что преступления совершает британская компания, отправило туда своего консула Роджера Кейсмента — того самого, который незадолго до этого разоблачил зверства в бельгийском Конго. Кейсмент в 1910–1911 годах объехал фактории компании, допросил надсмотрщиков и индейцев и в 1912 году опубликовал доклад. По его оценке, за двенадцать лет работы компании на Путумайо погибло около тридцати тысяч индейцев, а каждая тонна каучука, вывезенная оттуда, стоила человеческих жизней. Мариатеги, писавший о «самой чёрной странице в истории каучукового бума», отмечал, что за границей пытались объявить эти разоблачения преувеличением и даже шантажом, но о преступлениях «неопровержимо свидетельствуют расследования и показания представителей перуанских судебных властей», судьи Валькарселя и прокурора Паредеса, которые установили применение надсмотрщиками дома Арана «рабовладельческих, кровавых методов» (Мариатеги, с. 385–386). Компанию ликвидировали. Арана никогда не был осуждён, стал сенатором Перу и умер в своей постели в 1952 году. Кейсмента в 1916 году англичане повесили за участие

в ирландском восстании: человек, увидевший колониальную систему в Конго и на Амазонке, в конце концов узнал её и в собственной Ирландии.

Бум кончился так же внезапно, как начался. В 1876 году англичанин Генри Уикхэм вывез из Амазонии семена гевеи — Галеано рассказывает, как он выдал их бразильским таможенникам за редкие орхидеи для королевского сада, — их проростили в ботаническом саду Кью под Лондоном и отправили на Цейлон и в Малайю (Галеано, с. 133). Там гевея росла рядами на плантациях, сок собирали дешёвые азиатские рабочие, и в 1913 году мировые цены на каучук рухнули в четыре раза. К 1919 году Бразилия давала лишь восьмую часть мирового каучука (с. 132). Сельва, пишет Галеано, «снова сомкнулась над тропами» (с. 133). Мариатеги назвал эту эпоху «каучуковым миражом»: Перу показалось, что оно нашло Эльдorado в своих лесах, но «падение цен на каучук рассеяло этот мираж» (Мариатеги, с. 67). Каучук, писал он, был «богатством, зависящим от игры случая», а ресурсы леса «хищнически расточались, а не планомерно разрабатывались» (с. 237). Он заметил и то, что в перуанской Амазонии, в департаменте Лорето с центром в Икитосе, рос свой регионализм, не раз выливавшийся в «стихийные выступления» против Лимы (с. 238). Но мы уже знаем, какой вопрос нужно задать любому регионализму. Регионализм каучуковой Амазонии был регионализмом хозяев факторий и их торговых домов, а не уитото и бора, которые из этой свободы края не получили бы ничего.

Сибирскому читателю каучуковый бум знаком по другому сырью — по пушнине. Во втором томе мы описывали, как в XVIII–XIX веках купцы давали сибирским охотникам в долг хлеб, порох, водку и ткани под будущую добычу, проценты доходили до трёхсот, а «Положение» 1819 года о долгах «иноверцев» так и не заработало. Ядринцев писал, что «кусочек красного сукна» решал судьбу таёжного охотника. «Авиаменто» Амазонии и долговая кабала сибирского промысла — одна и та же система: кредит под будущую добычу, цены, которые назначает кредитор, и человек, который никогда не выйдет из долга. А «коррериас» Араны напоминают о более раннем времени сибирской истории, когда ясак собирали вооружённые отряды, а покорность обеспечивали заложниками-аманатами. Есть и ещё одно сходство. Кейсмент и Харденбург показали, что гибель амазонских народов — не естественное вымирание «дикарей» при встрече с цивилизацией, а результат конкретной экономической системы с конкретными владельцами и акционерами. Ядринцев за двадцать лет до них сделал то же самое для Сибири: в «Сибирских инородцах» он доказывал, что «вымирание инородцев» — не закон природы, а последствие колониальной политики. Мы предполагаем, что это общее открытие XIX века, сделанное в разных концах мира людьми, видевшими колонию изнутри: народы не вымирают, их убивают — пулей, долгом, болезнью, голодом и отнятой землёй.

Каучук рос в диких лесах, и после краха бума сельва сомкнулась над факториями. Кофе и бананы росли на плантациях, они нуждались в земле, железных дорогах и портах, и вместе с ними в Латинскую Америку пришла компания, которая сама стала государством в целом ряде стран.

5.3. Кофе, бананы и United Fruit

В Колумбии, в городе Сьенага на карибском побережье, есть площадь, где в ночь на 6 декабря 1928 года армия открыла огонь по бастующим рабочим банановых плантаций. Они требовали того же, что за двадцать лет до них рабочие селитряной пампы: платить деньгами, а не талонами в лавках компании, признать их наёмными работниками, а не «подрядчиками», за которых компания ни за что не отвечает, построить больницы и отхожие места. Сколько людей погибло, неизвестно до сих пор: официальные данные говорили о девяти, американский консул сообщал о тысяче с лишним. Компания, против которой бастовали рабочие, называлась «Юнайтед фрут». Генерал, отдавший приказ стрелять, действовал на основании декрета о том, что «блюстители общественного порядка уполномочены карать, применяя оружие» (Галеано,

с. 156–157). Через сорок лет Габриэль Гарсиа Маркес описал эту ночь в «Ста годах одиночества», где поезд увозит к морю трупы трёх тысяч человек, а наутро все уверяют, что ничего не было. Чтобы понять, как в независимых республиках американская фруктовая компания получила право на такое молчание, нужно начать с кофе.

Кофе пришёл в Латинскую Америку ещё в XVIII веке, но мировым товаром стал во второй половине XIX-го, когда его начали пить рабочие европейских и американских городов. Крупнейшим производителем стала Бразилия. Плантации шли волной по долине реки Параибы и холмам вокруг Рио-де-Жанейро, оставляя за собой выжженную, размытую землю, а затем двинулись на запад, на «пурпурные» плато Сан-Паулу и дальше к Паране (Галеано, с. 142). Сначала на них работали рабы, а когда рабство отменили, плантаторы, как мы уже видели, привезли итальянских и португальских иммигрантов-колonoв. Колоны получали участок под огород, сажали для хозяина новые кофейные деревья и через четыре года, когда кусты начинали плодоносить и земля дорожала, должны были уходить искать новое место (с. 142–143). Перед фронтом кофе лежали леса, где жили индейцы каинганг и шоклен. В начале XX века их земли расчищали не только топором: в Сан-Паулу, Паране и Санта-Катарине действовали «бугрейрос», нанятые охотники на индейцев, которые нападали на деревни по заказу колониционных компаний. Кофейное богатство сделало Сан-Паулу самым развитым штатом страны, а его плантаторы вместе с скотоводами Минас-Жерайс десятилетиями делили между собой бразильское президентство. Когда цены падали, бразильское государство скупало излишки кофе и сжигало их, чтобы удержать цену, — защищало ренту плантаторов за счёт казны.

В Центральной Америке кофе изменил всё ещё быстрее. Мы уже видели, как в Гватемале либеральная революция 1871 года отняла у общин землю для кофейных плантаций. Галеано описывает этот процесс для всего перешейка. Кофе, пришедший на смену индиго и кошенили, которые убила немецкая химия, «пробудил неистовое желание приобретать земли и людей», и латифундия «родилась в Центральной Америке под флагом свободы труда». Общинные земли перешли в частные руки, крестьян, не желавших продавать землю, забирали в армию, а колониальные законы о принудительной вербовке и о бродяжничестве были воскрешены (Галеано, с. 152–153). В Сальвадоре законы 1881–1882 годов вообще отменили общинную собственность и общинные выгоны: земля, на которой индейские деревни жили веками, за несколько лет перешла к узкому кругу семей, которых потом стали называть «четырёхдесятными семействами». Индейцы ушли на горные клочки земли, где выращивали кукурузу и фасоль, и спускались к плантациям только на сезон сбора урожая. Галеано называет этот порядок прямо: индейцы «так же страдают от внутреннего колониализма белых и метисов, идеологически освящённого господствующей культурой, как сами центральноамериканские страны страдают от колониализма иностранного» (с. 153). Это одно из первых в нашей книге употреблений понятия, которое даст имя всей главе. Через полвека после кофейной реформы, в 1932 году, индейцы и крестьяне западного Сальвадора восстали, и армия убила, по разным оценкам, от десяти до тридцати тысяч человек. Сальвадорцы называют эту бойню просто «Матанса», «Резня». Мы к ней ещё вернёмся.

Справедливости ради скажем, что кофе не везде означал латифундию. В Колумбии кофе выращивали в основном мелкие хозяева: крестьяне-колonoисты из Антьокии, расчищавшие склоны Анд, создали в «кофейной оси» страны мир мелкой собственности, где, по данным Галеано, девяносто шесть процентов плантаций были крошечными участками (с. 144). Но и здесь мелкий производитель продавал свой урожай торговцам и Национальной федерации кофеводов, которая устанавливала цены, а рабочий, по данным журнала «Тайм», получал пять процентов стоимости, которую приобретал кофе по дороге от куста до чашки североамериканца (с. 143–144). Рента уходила не через латифундию, а через рынок.

Банан, в отличие от кофе, не был делом местных плантаторов. Его история начинается с железной дороги. В 1871 году правительство Коста-Рики заказало строительство дороги от столицы к карибскому порту Лимон. Строительство взял на себя племянник американского подрядчика Майнор Купер Кит. Дорогу строили почти двадцать лет через болота и малярийные джунгли, на ней погибли тысячи рабочих — ямайцев, китайцев, итальянцев, — и за неё правительство расплатилось с Китом землёй: он получил около трёхсот тысяч гектаров вдоль полотна. Чтобы дороге было что возить, Кит начал сажать бананы. В 1899 году его компания слилась с бостонской фруктовой фирмой, и так возникла «Юнайтед фрут компани» (Альперович, Слёзкин, с. 199). Через несколько лет она стала, по словам Галеано, «основным латифундистом Центральной Америки»: ей принадлежали плантации в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Панаме, Колумбии, железные дороги, порты и пароходы, телеграф и электростанции, у неё были собственные таможни и собственная полиция, а «доллар стал, по существу, национальной центральноамериканской валютой» (Галеано, с. 154). В Гондурасе, по местной пословице, «мул стоит больше, чем депутатское кресло» (с. 154). В 1911 году конкурент «Юнайтед фрут» Сэмюэл Земюррей, хозяин компании «Куйямель», нанял отряд наёмников и привёз в Гондурас своего президента, который расплатился концессиями. Само выражение «банановая республика» появилось в 1904 году в книге американского писателя О. Генри, писавшего о Гондурасе. За право вывозить миллионы гроздей бананов в год компания платила Гондурасу, как напоминает Галеано, по одному центу с грозди, и даже этот налог было почти невозможно собрать, потому что компания ввозила и вывозила всё через собственные порты (с. 158). Советский учебник называет фруктовые монополии «зелёными чудовищами», которые устанавливали «предельно низкую заработную плату и жесточайший губительный режим труда» (Альперович, Слёзкин, с. 213). Мариатеги или Галеано не нашли бы для этого более точных слов.

Мы предполагаем, что «Юнайтед фрут» — это не просто иностранная компания, вложившая деньги в чужую страну, а особая форма власти, которую в Латинской Америке назовут анклавом. На своей территории компания была одновременно землевладельцем, работодателем, торговцем, перевозчиком, банкиром, полицией и судьёй, а государство, на земле которого стоял анклав, оставалось формальностью, нужной для того, чтобы подписывать концессии и присылать солдат против забастовщиков. Сибирский читатель знает такую форму власти не из иностранной истории. Алтайский горный округ, о котором мы писали в начале этой книги, полтора века был собственностью Кабинета его императорского величества — личного хозяйства монарха. Кабинет владел землёй, рудниками, заводами и лесами огромного края, его горные чиновники управляли, судили и наказывали, а приписные крестьяне отрабатывали на заводах повинность, пока в 1861 году их не освободили. Даже после этого кабинетские земли оставались закрыты для свободного крестьянского заселения, и Потанин в 1908 году требовал, чтобы они «были возвращены в крестьянское пользование» (Потанин, с. 115). Хозяин был другим — не акционеры из Бостона, а сам император, — но устройство власти похоже: территория, на которой собственник и есть государство, а люди на ней — рабочая сила. И в обоих случаях край, производивший богатство, не распоряжался ни своей землёй, ни своей рентой.

Кофейные плантаторы и банановые компании нуждались не только в земле и рабочих, но и в государстве, которое обеспечит им порядок, железные дороги и солдат. В последние десятилетия XIX века такое государство получило собственную философию, а его самым совершенным воплощением стала Мексика генерала Порфирио Диаса.

5.4. «Порядок и прогресс»: позитивисты и Порфириато

На флаге Бразилии, на синей звёздной сфере, белыми буквами написано: «Ordem e Progresso» — «Порядок и прогресс». Это, пожалуй, единственный государственный флаг в мире, на котором стоит лозунг философа. Слова взяты у Огюста Конта, основателя позити-

визма, а флаг придумали в ноябре 1889 года его бразильские последователи, через несколько дней после того, как военные свергли императора Педру II и провозгласили республику. Одним из руководителей переворота был военный инженер и преподаватель математики Бенжамин Констан Ботелью де Магальяйнс, философ-позитивист и аболиционист (Альперович, Слёзкин, с. 102–103). Бразильская республика родилась как проект учёных офицеров, уверенных, что знают, как управлять обществом по законам науки. Этот проект и его мексиканский двойник лучше всего показывают, во что превратился латиноамериканский либерализм к концу XIX века.

Конт учил, что человечество проходит три стадии — теологическую, метафизическую и научную, «позитивную», — и что на последней стадии обществом должны управлять не короли и не политики, спорящие о правах, а знающие люди, опирающиеся на «социальную физику». Свобода и права человека, по Конт, были идеями «метафизической» стадии, полезными для разрушения старого порядка, но опасными для строительства нового. Порядок становился условием прогресса, а прогресс — оправданием порядка. Позже к Конт добавился Герберт Спенсер с его эволюционизмом, который легко превращался в социальный дарвинизм: в борьбе за существование побеждают сильнейшие, и тем, кто внизу, не стоит мешать естественному ходу вещей. Для латиноамериканских элит, уставших от полувека гражданских войн, мятежей каудильо и споров либералов с консерваторами, это учение было подарком. Оно позволяло отказаться от неудобной части либеральной программы — выборов, свобод, федерализма, — сохранив другую её часть: частную собственность, свободу торговли, железные дороги, иностранный капитал. В Мексике позитивизм в 1867 году принёс из Франции врач Габино Баррэта, возглавивший при Хуаресе Национальную подготовительную школу и сделавший её девизом слова «Свобода, порядок и прогресс». Через двадцать лет из этой триады осталось два слова.

Генерал Порфирио Диас был героем либеральной Мексики. Он сражался в Войне за реформу, отличился в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года, когда мексиканцы разбили французов, и в 1876 году пришёл к власти через мятеж под лозунгом «Действительное избрание, никаких переизбраний». Затем, напоминает советский учебник, он в 1887 году разрешил одно переизбрание, в 1890-м снял все ограничения, а в 1904-м продлил президентский срок до шести лет (Альперович, Слёзкин, с. 244). Он правил с небольшим перерывом тридцать пять лет. Конституция 1857 года оставалась в силе, но, как пишут Альперович и Слёзкин, «существовала лишь на бумаге». Диас сам составлял списки депутатов, губернаторов назначал из крупных местных землевладельцев, по округам сидели назначенные им «политические начальники», а для «поддержания порядка» в деревне была создана конная сельская полиция, руралес, «рекрутировавшаяся в значительной части из уголовных преступников» (с. 245). Его формула власти вошла в поговорку: «Хлеб или палка». С церковью, которую громили Хуарес и Лердо, режим помирился (с. 245).

Рядом с Диасом стояла группа, которую в Мексике называли «сьентификос» — «учёные». Это была, по словам советского учебника, «олигархическая клика» из полутора десятков крупнейших чиновников, латифундистов и представителей буржуазной интеллигенции, исповедовавших позитивизм и пропагандировавших «научные» методы управления государством. Их лидером был министр финансов Хосе Ив Лимантур. Они считали, что Мексику может вывести из отсталости только иностранный капитал, а индейцев и метисов, как прямо пишут Альперович и Слёзкин, «рассматривали как низшую расу» (Альперович, Слёзкин, с. 245). Их успехи были настоящими. За годы Порфириато длина железных дорог выросла от шестисот с лишним километров почти до двадцати тысяч, Мексика стала крупнейшим мировым производителем хенекена, вывозила серебро, медь, а с начала XX века и нефть, столица получила электрическое освещение, трамваи и оперный театр из каррарского мрамора, а государственный бюджет при Лимантуре впервые свёл концы с концами. В 1910 году Диас пышно

отпраздновал столетие начала борьбы за независимость: за парадным столом сидели «элегантные кабальеры в смокингах», и, как пишет Галеано, официальная Мексика не желала знать нищую Мексику, «которая их кормила и поила» (Галеано, с. 171).

Цену этого прогресса мы уже знаем по предыдущим главам. Компании по размежеванию «пустующих» земель, получавшие треть размежёванного, и окончательный раздел общинных земель довели закон Лердо до конца (Альперович, Слёзкин, с. 246). В 1910 году, по данным, которые приводит Галеано, «чуть более 800 латифундистов, многие из которых были иностранцами, владели почти всей территорией страны», а двенадцать миллионов из пятнадцати миллионов мексиканцев зависели от заработков в сельском хозяйстве, причём их жалованье «почти целиком оставалось в лавке помещика». Тюрьма, казарма и церковь боролись с «врождёнными пороками» индейцев, которые, по словам представителя одного известного семейства, рождались «ленивыми, склонными к пьянству и воровству» (Галеано, с. 171–172). Американский журналист Джон Кеннет Тёрнер, объехавший плантации Юкатана и Оахаки, назвал свою книгу «Варварская Мексика» и писал, что Соединённые Штаты превратили Мексику в «свою рабскую колонию» (с. 172). Советский учебник объявляет режим Диаса победой «наиболее реакционных элементов мексиканского общества», «латифундистов феодального толка», которые «поспешили предать забвению либеральные начинания» (Альперович, Слёзкин, с. 245). Мы думаем, что это не совсем так. Порфириато не предал либеральную программу, а выполнил её — в той её части, которая касалась собственности, рынка и капитала. Общины, которых не смог добить Хуарес, добил Диас. Он отказался только от либеральных свобод, и позитивизм дал ему для этого философское оправдание.

Мариатеги, наблюдавший позитивистов в Перу, где они служили олигархической партии «сивилистов», точно назвал эту перемену. Позитивизм, писал он, это «прирученный рационализм», который отражает «настроения и интересы буржуазии, ставшей консервативной после своего прихода к власти» (Мариатеги, с. 289). Но он же заметил, что позитивизм был не однороден. Перуанским «консервативным позитивистам», почитателям Тэна, он противопоставлял Мануэля Гонсалеса Праду, защищавшего «революционный позитивизм» (с. 289), — того самого Гонсалеса Праду, который после поражения в Тихоокеанской войне обвинил перуанскую элиту в том, что она построила страну на рабстве индейцев, и к концу жизни пришёл к анархизму. В Бразилии позитивизм тоже дал неожиданного человека: офицера-телеграфиста Кандиду Рондона, потомка индейцев бороро, который, прокладывая телеграфные линии через леса Мату-Гросу, запрещал своим солдатам стрелять в индейцев даже в ответ на нападение. Его лозунг — «Умереть, если понадобится, убивать — никогда». В 1910 году он основал Службу защиты индейцев. Но и Рондон, как Сперанский и колумбийский закон № 89, видел цель в том, чтобы постепенно привести индейцев к «цивилизации», и созданная им служба через несколько десятилетий превратилась в коррумпированное ведомство, торговавшее индейскими землями. Позитивистская опека и позитивистский порядок оказались двумя сторонами одного взгляда сверху.

Сибирскому читателю этот взгляд слишком хорошо знаком. Российская империя конца XIX века проводила свою «порфирианскую» модернизацию: Сергей Витте строил на иностранные займы Транссибирскую магистраль, вводил золотой рубль и привлекал европейский капитал в горную промышленность, а политическая система оставалась самодержавной, и любые требования самоуправления, в том числе сибирского, казались опасными. Потанин вспоминал свой разговор с бывшим тобольским губернатором Богдановичем, который на его пожелание ввести в Сибири одну прогрессивную меру раньше, чем в европейской России, ответил: «Ишь вы, захотели, чтобы колония пользовалась лучшими условиями жизни, чем метрополия!» (Потанин, с. 151). Это тоже порядок и прогресс: прогресс для центра, порядок для окраины. Но главный опыт сибирский читатель получил в XX веке. Советская власть превзошла всех позитивистов в вере в то, что общество можно перестроить по научному плану, что зна-

ющие люди в центре лучше знают, что нужно тайге и тундре, и что для прогресса необходимо сначала навести порядок. Мы прожили в такой стране семьдесят лет. Мы знаем, что наука, поставленная на службу государственному плану, может построить железные дороги и заводы, но не может спросить тех, через чьи земли эти дороги прокладываются. Но было бы ошибкой сделать из этого вывод, что виновата сама наука или позитивизм как философия науки. Кропоткин, учёный-естествоиспытатель, считал себя позитивистом и в «Современной науке и анархии» пришёл к выводу, что анархизм должен стать наукой именно в позитивном смысле — опытной, экспериментальной, основанной на наблюдении за тем, как люди на самом деле живут и сотрудничают. Его упрёк Конту был не в том, что тот слишком доверял науке, а в том, что он изменил собственному методу и вывел из науки иерархию и государственную религию. Мариатеги, различая «консервативный» и «революционный» позитивизм, говорил о том же. Наука и позитивизм — оружие, и это оружие может оказаться в руках разных социальных групп: у Лимантура и советских плановиков — против тех, кто внизу, у Кропоткина, Гонсалеса Прады и, как мы увидим, у многих латиноамериканских левых XX века — в их защиту. XX и XXI века показали это с обеих сторон. Вопрос, как и с регионализмом, не в самом инструменте, а в том, кто им пользуется и кого спрашивает.

Порядок, о котором мечтали позитивисты, требовал, чтобы на земле, предназначенной для прогресса, не осталось тех, кто ему мешает. В те же десятилетия, когда Диас строил железные дороги, армии Аргентины, Чили и Мексики двинулись на последние свободные индейские земли континента.

5.5. Завоевание пустыни, Араукания, депортация яки

На аргентинской банкноте в сто песо долгие годы печатали портрет генерала Хулио Архентино Роки, дважды президента республики, а на обороте — картину Хуана Мануэля Бласеса «Завоевание пустыни»: колонна всадников в мундирах под знамёнами на берегу реки Рио-Негро, впереди генерал на белом коне. Советский учебник называет Року «„героем“ уничтожения индейцев» и ставит слово «герой» в кавычки (Альперович, Слёзкин, с. 124). В аргентинских школьных учебниках кавычек не было. «Пустыней» в Аргентине называли пампу и Патагонию к югу от линии фортов — земли, где жили мапуче, теуэльче, ранкелес. Пустыня эта была пустой только для тех, кто смотрел на неё из Буэнос-Айреса. В последние десятилетия XIX века Аргентина, Чили и Мексика почти одновременно двинули армии на последние индейские земли континента, которые до тех пор оставались вне власти государства. Позитивисты называли это торжеством цивилизации над варварством, словами Сармьенто, о котором мы уже писали.

Индейские общества юга не были ни дикими, ни слабыми. Мапуче — «люди земли» — три века отстаивали свою независимость от Испании, и испанская корона в конце концов признала её. На больших переговорах-«парламентах», начиная с Килина в 1641 году, королевские губернаторы договаривались с вождями мапуче, и граница по реке Био-Био разделяла испанское Чили и свободную Арауканию, как называли её испанцы. По восточную сторону Анд, в пампе, мапуче и союзные им народы создали в XIX веке сильные объединения. Вождь Кальфукура из своей ставки в Салинас-Грандес десятилетиями то торговал и договаривался с правительством Буэнос-Айреса, получая за мир скот, муку и серебро, то совершал набеги-«малоны» на пограничные эстансии. Мы видели, что Росас вёл с ними ту же двойную политику. Республиканские правительства продолжали её до тех пор, пока земля к югу от фортов не понадобилась мировому рынку. Пампа, где росла трава для скота и могла расти пшеница, стала нужна Англии и эстансиям Буэнос-Айреса, и судьба её жителей, как и предсказывает закон, о котором мы писали во втором томе, решилась тем, насколько их земля была нужна другим.

Сначала аргентинское правительство попыталось отгородиться. В 1876 году военный министр Адольфо Альсина приказал выкопать через пампу ров длиной в несколько сотен километров, чтобы индейские всадники не могли угонять скот. Его преемник Рока счёл, что граница должна не защищаться, а двигаться. В 1878 году конгресс принял закон о финансировании военной экспедиции, и деньги на неё собрали, продавая облигации, обеспеченные землёй, которую ещё только предстояло завоевать. Земли индейцев продали раньше, чем отняли. В 1879 году шесть тысяч солдат с винтовками «ремингтон», поддержанные телеграфом и железной дорогой, двинулись к Рио-Негро. Сопrotивления, способного остановить такую армию, не было. По собственным отчётам армии, к концу кампании было убито больше тысячи воинов, около четырнадцать тысяч человек взяты в плен; последний крупный вождь Патагонии Сайуэке сдался в 1885 году. Пленных разделяли семьями. Мужчин отправляли на сахарные плантации Тукумана и в армию, женщин и детей раздавали «в услужение» семьям Буэнос-Айреса — списки раздачи печатали в газетах. Завоёванные земли, десятки миллионов гектаров, перешли в собственность нескольких сотен человек: держателей облигаций, офицеров, друзей правительства. Рока на волне этой славы в 1880 году стал президентом, и, по словам советского учебника, в стране установилась «неограниченная власть крупных землевладельцев и наиболее состоятельных торговцев, связанных с латифундистами и английским капиталом» (Альперович, Слёзкин, с. 125). Галеано пишет об этом коротко: в Аргентине и Уругвае «охота на индейцев производилась войсками», которые загоняли их «в леса или пустыни, чтобы те не мешали организованному развитию скотоводческих латифундий» (Галеано, с. 81). Дальше на юге, на Огненной Земле, овцеводческие компании платили охотникам за головы индейцев селькнам, и к середине XX века этот народ почти перестал существовать.

В Чили завоевание Араукании растянулось на двадцать лет. В 1860-е годы чилийские войска начали продвигать линию фортов на юг от Био-Био, а мапуче отвечали восстаниями. Последний удар нанесли сразу после победы над Перу: армия, ещё не распущенная после Тихоокеанской войны, двинулась на юг, и в 1881–1883 годах, как пишут Альперович и Слёзкин, «опытные солдаты, располагавшие современным оружием, сломили сопротивление арауканов» (Альперович, Слёзкин, с. 163). Чилийская официальная история назвала это «умиротворением Араукании». Земли мапуче объявили государственными. Самим мапуче оставили небольшие «редукции» с коллективными титулами — по разным подсчётам, около пятисот тысяч гектаров, малую долю того, чем они владели до войны. Остальное продавали с аукционов чилийским землевладельцам и раздавали европейским колонистам, прежде всего немцам и швейцарцам. Спор о земле, начатый тогда, не закончен до сих пор: в начале XXI века на юге Чили общины мапуче занимают земли лесопромышленных компаний, а государство применяет против них антитеррористический закон, принятый ещё при Пиночете.

В Мексике последними непокорёнными оставались яки — народ, живший в плодородной долине реки Яки в Соноре. Иезуиты в XVII веке собрали их в восемь деревень-пуэбло, и яки считали эту землю дарованной им навеки. В 1870–1880-е годы их вождь Хосе Мария Лейва, по прозвищу Кахеме, создал в долине фактически самоуправляющуюся территорию с собственной администрацией и налогами. В 1887 году его схватили и расстреляли, но война в горах Бакатете продолжалась. Правительство Диаса хотело отдать долину под орошаемое земледелие американским и мексиканским компаниям, и, как пишет Галеано, индейцы яки «подверглись кровавой расправе. Это потребовалось для того, чтобы их богатые... плодородные земли могли быть беспрепятственно проданы нескольким североамериканским капиталистам. Выживших отправили на плантации Юкатана» (Галеано, с. 81). С 1902 по 1908 год армия хватала яки — не только бойцов, но и мирных работников с асьенд Соноры, женщин, детей — и отправляла их в товарных вагонах и на пароходах через всю страну на хенекеновые плантации. Американский журналист Тёрнер видел этих людей и узнал, что их продавали плантаторам по шестьдесят пять песо за голову. Галеано пишет, что две трети депортированных яки погибли

в первый же год (с. 82). Число высланных историки оценивают от нескольких тысяч до пятнадцати тысяч человек — значительную часть народа.

Три войны в трёх странах были устроены одинаково. Сначала землю объявляли пустой, хотя на ней жили люди, — «пустыней», «бесхозной», «государственной». Затем её завоёвывали армией, вооружённой продуктами прогресса: скорострельными винтовками, телеграфом, железной дорогой. Затем землю продавали или раздавали узкому кругу собственников и европейским колонистам, а побеждённых не уничтожали полностью, а превращали в рабочую силу — на сахарных плантациях Тукумана, на хенекеновых полях Юкатана, в домах Буэнос-Айреса. Позитивистское различие между «цивилизацией» и «варварством» было не просто оправданием завоевания, а инструкцией к нему. Мы предполагаем, что именно здесь, на южной и северной границах Латинской Америки конца XIX века, внутренний колониализм проявился в чистом виде: независимые республики вели против коренных народов те же войны, что европейские империи в Африке, — в те же самые годы и тем же оружием.

Сибирскому читателю эта история напомнит прежде всего чукчей, которым во втором томе мы посвятили главу «Непокорённые». В XVIII веке Российская империя пыталась завоевать Чукотку силой, Сенат в 1742 году приказал «искоренить вовсе» немирных чукчей, экспедиции майора Павлуцкого жгли стойбища, но чукчи отбились, и в 1778 году империя перешла к переговорам. Устав Сперанского 1822 года вписал их в особую категорию «не совершенно зависящих» инородцев, которые платят ясак добровольно и живут по своим законам. Мапуче и чукчи — два народа на двух концах света, которых старая империя не смогла покорить и с которыми была вынуждена договориться. Различие в том, кто пришёл потом. Мапуче лишила земли не испанская корона, а чилийская республика, получившая независимость под лозунгом свободы. Чукчей подчинила не империя, а советская власть в 1930-е годы, через коллективизацию оленьих стад и борьбу с «кулаками» в тундре. В обоих случаях то, чего не смогла сделать старая монархия, сделало новое модернизирующее государство, говорившее от имени прогресса. Ещё ближе к Аргентине другой сибирский сюжет: переселенческое управление начала XX века тоже размечало «свободные» земли казахов и алтайцев заранее, на картах, и продавало или раздавало их до того, как хозяева узнавали о решении. «Свободная земля свободна только с точки зрения переселенца или чиновника», — писали мы во втором томе. Аргентинские облигации 1878 года — та же мысль, выраженная на языке биржи.

Но не все побеждённые принимали свою участь молча и не все искали спасения в оружии своих отцов. В тех же 1890-х годах в засушливой глубинке бразильского Северо-Востока бедняки, бывшие рабы и индейцы-метисы ушли за странствующим проповедником и построили посреди каатинги собственный город, где не было ни помещиков, ни сборщиков налогов. Республика, провозгласившая «порядок и прогресс», ответила на это четырьмя военными экспедициями.

5.6. Канудус (1896–1897)

В 1902 году в Рио-де-Жанейро вышла книга, которую бразильцы до сих пор считают одной из главных книг своей литературы, — «Сертаны» Эуклидеса да Куны. Её автор, военный инженер и журналист, воспитанный на позитивизме Конта и на вере в «порядок и прогресс», за пять лет до этого поехал корреспондентом газеты в армию, осаждавшую поселение Канудус в глубине штата Баия. Он ехал, уверенный, что республика воюет с монархическим мятежом фанатиков. Вернулся он с другой уверенностью и закончил книгу словами, которые бразильские школьники знают наизусть: «Канудус не сдался. Единственный во всей истории пример, он сопротивлялся до полного истощения. Взятый пядь за пядью, в полном смысле этого слова, он пал 5 октября, к вечеру, когда пали его последние защитники, погибшие все до одного. Их было всего четверо: старик, двое взрослых мужчин и ребёнок, перед которыми

яростно ревели пять тысяч солдат». А в предисловии он написал проще: эта война «была, в полном значении этого слова, преступлением. Обличим же его». Советский учебник, рассказывая о Канудусе, почти дословно повторяет финал да Куны: поселение было взято «5 октября 1897 г. в сумерки, когда пали его последние защитники» (Альперович, Слёзкин, с. 108).

Сертан — засушливая глубинка Северо-Востока Бразилии, страна колючих кустарников-каатинги, пастухов-вакейро и периодических засух, о которых мы уже писали, когда речь шла о каучуке. Земля здесь принадлежала немногим фазендейро, а остальные жили на ней как пастухи, арендаторы, подёнщики, без прав и без надежды. После отмены рабства в 1888 году к ним прибавились бывшие рабы, которым, как мы помним, не дали ни земли, ни денег. С 1870-х годов по сертану странствовал проповедник Антониу Висенти Мендис Масиэл, которого народ прозвал Антониу Консельейру — «Советчиком». Он строил и чинил церкви и кладбищенские стены, проповедовал покаяние и близкий конец света. Советский учебник видит в его учении «своеобразную „ересь“ тёмных и суеверных крестьян-бедняков», в которой «отчётливо проявился протест против существующего строя» (Альперович, Слёзкин, с. 107). Сам Консельейру считал себя верным католиком. Республику, провозглашённую в 1889 году, он не принял, потому что она отделила церковь от государства, ввела гражданский брак и новые налоги, и называл её делом антихриста. Когда в 1893 году в одном из городков сертана вывесили объявления о новых муниципальных налогах, его последователи сорвали их и сожгли. После этого Консельейру увёл своих людей на заброшенную скотоводческую ферму Канудус на берегу реки Вазы-Баррис.

За четыре года Канудус, который его жители называли Белу-Монти — «Прекрасная гора», — превратился в один из крупнейших городов штата Баия. По оценкам современных историков, в нём жило от двадцати до тридцати тысяч человек: вакейро, бедные крестьяне, бывшие рабы, индейцы и метисы сертана. Советский учебник описывает Канудус как общину, где главными принципами были «совместный труд, общая земля, равенство её членов, обязанность работать», а «частная собственность признавалась незаконной и преступной», и называет его «своеобразной неосознанной попыткой воплощения идей примитивного коммунизма, скрывавшихся под религиозной оболочкой» (Альперович, Слёзкин, с. 108). Американский историк Роберт Левин, изучивший Канудус по документам, рисует картину сдержаннее: собственность в Белу-Монти не была отменена, люди торговали с соседними городками, нанимались на окрестные фазенды, и у общины были свои распорядители и своя иерархия вокруг Консельейру. Но главное верно и в той, и в другой версии. В Канудусе не было ни помещика, ни сборщика налогов, ни полиции, люди сами строили дома, церковь и укрепления, делились землёй и урожаем, а пришедший отдавал общине то, что принёс. Мы предполагаем, что Канудус не был ни коммунистической утопией, ни монархическим заговором, а был тем, чем не раз становились общины беглецов во всех колониальных обществах: попыткой бедняков уйти от господ и жить своим миром на незанятой земле.

Именно поэтому он был невыносим для республики. Фазендейро жаловались, что их работники уходят в Канудус. Церковь беспокоилась из-за проповедника, не подчинявшегося епископу. Столичные газеты писали о монархическом заговоре, якобы связанном с эмигрантами и иностранными державами. В ноябре 1896 года против Канудуса выступил первый небольшой отряд, и его разбили. В январе 1897 года разбили и второй. В марте третья экспедиция под командованием полковника Морейры Сезара, которого в армии прозвали «рубителем голов» за расправы над федералистами на юге, бросилась на штурм — и была разгромлена, а сам Морейра Сезар убит. Это поражение армии республики от отряда сертанежу вызвало в Рио-де-Жанейро панику и погромы монархических газет. Четвёртая экспедиция, около десяти тысяч солдат с крупновскими пушками, осаждала Канудус с июня по октябрь. Консельейру умер в сентябре от болезни и ран. После падения города пленных, включая женщин и детей, массово казнили — им перерезали горло, что солдаты называли «красным гал-

стуком». Погибло, по разным оценкам, от пятнадцати до двадцати пяти тысяч человек. Поселение сожгли дотла, а через шестьдесят лет его развалины затопило водохранилище.

Канудус — не единственная история такого рода в Бразилии. В 1912–1916 годах на юге страны, в спорном районе Контестаду, крестьяне, согнанные с земли американской компанией, которая строила железную дорогу и получила вдоль неё полосу леса, тоже собрались вокруг народных проповедников и тоже создали свои «святые города», и тоже были раздавлены армией — на этот раз с применением аэропланов. Сюжет был одинаков: модернизация, железная дорога, иностранная компания, сгон с земли, религиозная община как ответ и армия республики как окончательный довод. Да Кунья, ехавший на войну с «варварами», понял в сертане главное: армия «цивилизации» оказалась в Канудусе более жестокой, чем «варвары», против которых её послали, а сами сертанежу были, по его словам, «ядром нашей национальности», которое побережье не знало и не хотело знать. Позитивист увидел, во что превращаются «порядок и прогресс», когда их несут штыками в мир, который о них не просил.

Сибирский читатель знает подобные общины по собственной истории. В XVIII веке беглые крестьяне и старообрядцы уходили в горы Алтая, в долины Бухтармы, и жили там «каменщиками» — без помещиков, без податей, без начальства, — пока в 1791 году империя не согласилась признать их, сделав ясачными. Среди старообрядцев жила легенда о Беловодье — стране свободы и праведной веры где-то за горами, и люди веками отправлялись её искать. Потанин в «Нуждах Сибири» описал маленький сибирский Канудус: общину старообрядцев, «сошедшихся из разных мест», которые поселились в тайге Мариинского уезда, расчистили лес под пашню и «создали культурный уголок», пока не явился чиновник, нарезавший землю переселенцам, и не отрезал у них все расчищенные поля, оставив только усадьбы (Потанин, с. 110). Вместо армии тут хватило землемера. А в 1930-е годы советская власть разыскивала и разоряла старообрядческие скиты в тайге с той же уверенностью, с какой бразильская республика штурмовала Белу-Монти: община, живущая по своей вере и своим законам, для модернизирующего государства всегда выглядит заговором.

Канудус завершает рассказ о полувеке экспортного бума и внутреннего колониализма. Пора объяснить это понятие, которое мы уже несколько раз употребляли. Его ввели в 1960-е годы мексиканские социологи Пабло Гонсалес Касанова и Родольфо Ставенхаген, размышляя над положением индейцев в собственной стране. Они заметили, что колониальные отношения не исчезли с независимостью, а переместились внутрь государств: индейские районы Мексики по отношению к городам и к мексиканской нации занимали то же положение, какое колония занимает по отношению к метрополии, — их земли и труд служили чужому богатству, их язык и культура считались низшими, а решения о них принимались без них. Ставенхаген писал, что «внутренний колониализм» — одна из причин, по которым Латинская Америка не может стать демократической, сколько бы конституций она ни принимала. Галеано, как мы видели, употреблял то же понятие, говоря о Гватемале, где индейцы страдают от внутреннего колониализма «белых и метисов», как сама страна — от иностранного (Галеано, с. 153). Сибирскому читателю это понятие знакомо под другим именем. Ядринцев назвал свою книгу «Сибирь как колония» за восемьдесят лет до Гонсалеса Касановы, и областники всю жизнь доказывали, что Сибирь находится в колониальном положении внутри собственной страны. И именно в те десятилетия, о которых шла речь в этой главе, это положение изменилось сильнее всего. С 1891 года через Сибирь строили Транссибирскую магистраль, и по ней в край хлынули миллионы переселенцев. Они осваивали «свободные» земли, а государство, как мы писали во втором томе, отрезало «излишки» у бурят, казахов, алтайцев и хакасов. Сибирь, оставаясь колонией по отношению к центру, сама превращалась в метрополию для своих коренных народов. В этом двойном положении — колонии и колонизатора одновременно — и состоит главное сходство Сибири с Латинской Америкой, и главный вопрос, который мы задавали с самого начала книги: самостоятельность кого и по отношению к кому?

Первым в Латинской Америке на этот вопрос с оружием в руках ответил крестьянский юг Мексики. В 1910 году, когда Порфирио Диас праздновал столетие независимости, внутренний колониализм Мексики взорвался революцией, которая длилась десять лет и впервые на континенте поставила в центр политики не флаг и не конституцию, а землю.

Глава 6. Мексиканская революция (1910–1920)

6.1. Мадеро и конец Порфириата

В сентябре 1910 года Мексика праздновала столетие «Клича Долорес», с которого началась её независимость. Порфирио Диасу исполнилось восемьдесят. В столицу съехались делегации всех держав мира, на проспекте Реформы открыли колонну Независимости с золотым ангелом, а на балах, как напоминает Галеано, «элегантные кабальеры в смокингах» представляли официальную Мексику, не желавшую знать ту, другую, которая их кормила (Галеано, с. 171). Через два месяца в стране началась революция, а через восемь месяцев старый диктатор уплыл из Веракруса в Европу, чтобы умереть в Париже. По преданию, поднимаясь на борт, он сказал: «Мадеро выпустил тигра. Посмотрим, сможет ли он его укротить». Мексиканская революция стала первой большой социальной революцией XX века, на семь лет раньше русской. Она длилась десять лет, унесла, по оценкам, около миллиона жизней (с. 177) и впервые на континенте поставила в центр политики землю. Для нашей книги она важна ещё и тем, что в ней с особенной ясностью видно то, о чём мы говорили с первых глав: революцию начинают снизу, а заканчивают сверху.

Человек, который выпустил тигра, меньше всего на свете хотел быть революционером. Франсиско Мадеро родился в 1873 году в одной из самых богатых семей северного штата Коahuила. Как пишет советский учебник, семье принадлежали поместья, металлургические заводы, медные рудники, текстильные фабрики, винокуренные заводы, банки (Альперович, Слёзкин, с. 251). Он учился во Франции и в Калифорнии, увлекался спиритизмом и гомеопатией, был вегетарианцем, лечил своих пеонов бесплатно и платил им больше, чем соседи. В 1908 году Диас в интервью американскому журналисту Джеймсу Крилмену неосторожно сказал, что Мексика созрела для демократии и он приветствовал бы оппозиционную партию. Мадеро поверил ему и в том же году выпустил книгу «Президентские выборы 1910 года», где предлагал бороться с режимом только законными средствами. Его программа сводилась к лозунгу, которым когда-то пришёл к власти сам Диас: «Действительное избрание, никаких переизбраний». Земельный вопрос в ней занимал очень скромное место (с. 251). Когда Мадеро стал собирать на митинги десятки тысяч людей, его арестовали, и на выборах в июне 1910 года Диаса «единогласно» переизбрали в восьмой раз (с. 251).

Выпущенный под залог, Мадеро бежал в Техас и оттуда опубликовал «План Сан-Луис-Потоси». Он объявлял выборы недействительными, себя — временным президентом и назначал всеобщее восстание на 20 ноября 1910 года. В план вошёл и один пункт о земле: захваты крестьянских земель при Диасе объявлялись незаконными и земли обещали вернуть прежним владельцам (Альперович, Слёзкин, с. 252). Двадцатого ноября почти ничего не произошло: полиция заранее арестовала заговорщиков в городах, а сам Мадеро, перейдя границу, не нашёл обещанных отрядов и вернулся в Техас. Но этот единственный пункт о земле слышали те, кому не было дела до избирательного права. Зимой 1910–1911 года восстала деревня. На севере, в Чиуауа, против федеральных войск поднялись погонщик мулов Паскуаль Ороско и бывший разбойник Франсиско Вилья. На юге, в Морелосе, поднялись общинники во главе с Эмилиано Сапатой. В мае повстанцы взяли пограничный город Сьюдад-Хуарес, и 25 мая 1911 года Диас подписал отставку (с. 252–253).

Здесь и проявилась главная черта Мадеро. Он победил благодаря крестьянским армиям, но не собирался ничего менять в той части порфирианского порядка, которая касалась собственности. По соглашению в Сьюдад-Хуаресе федеральная армия Диаса сохранялась, временным президентом стал порфирианский дипломат, а повстанцам предложили сложить оружие

и разойтись по домам. В октябре 1911 года Мадеро был избран президентом «подавляющим большинством голосов», но, как признаёт советский учебник, его правительство «отказалось возратить крестьянам захваченные у них земли, настаивая вместе с тем на разоружении и роспуске партизанских отрядов» (Альперович, Слёзкин, с. 253). Против Сапаты, отказавшегося разоружиться, он послал ту самую армию Диаса во главе с генералом Викториано Уэртой. Свободные выборы, свобода печати, честный суд — всё это Мадеро действительно дал Мексике, и пятнадцать месяцев его правления остались в памяти страны единственным в её истории временем подлинной парламентской свободы. Но людям, которые сделали революцию, нужна была земля.

Мадеро погубили не те, кому он не дал земли, а те, кому он оставил оружие. В феврале 1913 года в столице восстали порфирианские генералы. Уэрта, которому Мадеро поручил подавить мятеж, при поддержке американского посла Генри Лейна Уилсона перешёл на сторону мятежников, арестовал президента и вице-президента, и через несколько дней обоих застрелили «при попытке к бегству» (Альперович, Слёзкин, с. 254). Католическое духовенство отслужило благодарственные молебны (с. 254). Либеральная революция, остановившаяся на смене лиц, оказалась беззащитной перед старым порядком, который она не тронула.

Русскому читателю эта история кажется знакомой по другой стране. В феврале 1917 года в России к власти тоже пришли образованные и благородные либералы, объявившие свободы, но отложившие земельный вопрос до Учредительного собрания и требовавшие от крестьян ждать. Через восемь месяцев их смели. В Мексике смели Мадеро не слева, а справа, но причина была одна: в аграрной стране политическая демократия без земли не имеет защитников. Тем, у кого нет земли, нечего защищать, а тем, у кого она есть, демократия не нужна. Мы предполагаем, что именно Мадеро впервые в Латинской Америке показал эту закономерность, которую потом повторит не один честный либерал. Тигр, которого он выпустил, к тому времени уже не подчинялся никому. И раньше всех и твёрже всех его волю сформулировал крестьянский вожак из маленькой деревни на юге.

6.2. Сапата и План Айялы

В 1909 году жители деревни Аненекуилько в штате Морелос выбрали старостой тридцатилетнего Эмилиано Сапату. Он был из небогатой, но уважаемой семьи, лучше всех в округе объезжал лошадей и одно время служил конюхом у богатого зятя Диаса в столице, где, по его словам, увидел, что лошади там живут лучше, чем крестьяне в его деревне. Старейшины передали ему на хранение главное богатство общины — колониальные грамоты на землю, полученные ещё от испанских вице-королей. Сапата хранил эти бумаги до самой смерти. Это важная деталь, без которой нельзя понять его движение. Аненекуилько, как пишет Галеано, был общиной, где крестьяне-индейцы «7 веков не разгибаясь трудились на своей земле... ещё до прихода Эрнана Кортеса» (Галеано, с. 173). Сапата воевал не за новое общество из книг, а за землю, на которую у его деревни были бумаги старше мексиканской республики.

Морелос был самым маленьким и самым «современным» сельским штатом Мексики. Его плодородные долины к югу от столицы занимали сахарные гасиенды, принадлежавшие, по данным Галеано, всего семнадцати собственникам. При Диасе гасиенды переоснастились, построили механические сахарные заводы и спиртовые фабрики, протянули железные дороги, и им понадобились земля и вода деревень. Галеано описывает «настоящую охоту за землями, водными источниками и людьми, необходимыми сахарным плантациям». Кто жаловался громко, того отправляли в лагеря принудительных работ на Юкатан, а закон 1909 года позволил отбирать у деревень новые земли (Галеано, с. 173). Перед нами в чистом виде то, что мы описывали в главах о либерализме и экспортном буме: община против модернизированной гасиенды, работающей на мировой рынок, и государство на стороне гасиенды.

Сапата поднял Морелос в марте 1911 года, поверив Плану Сан-Луис-Потоси. Когда Мадеро победил и потребовал разоружиться, Сапата пришёл к нему и, по известному рассказу, положил перед ним свой карабин: если у вас, сеньор президент, отнимут ваши часы, а потом у вас будет ружьё, разве вы не потребуете часы обратно? Мадеро обещал рассмотреть дело законным путём и послал против Морелоса войска. 28 ноября 1911 года Сапата и его сторонники обнародовали «План Айялы». Он объявлял Мадеро предателем революции и требовал трёх вещей. Земли, леса и воды, захваченные гасендадос, «учёными» и касиками, должны были немедленно вернуться деревням и гражданам, у которых сохранились на них документы, причём деревни должны были вступить во владение сразу, с оружием в руках, а уже потом доказывать своё право в особых судах. У тех, кто владел землёй монопольно, треть земли отчуждалась с компенсацией, чтобы деревни получили эхидо, колонии и поля. А имущество тех, кто воспротивился плану, конфисковывалось без выкупа (Альперович, Слёзкин, с. 253; Галеано, с. 174). План говорил, что «огромное большинство деревень и граждан Мексики владеют ныне только той землёй, на которой стоят» (Галеано, с. 174). Ключевая мысль плана была простой и революционной: землю не ждут от правительства, её берут, а доказывать законность приходится уже бывшему хозяину.

Восемь лет Освободительная армия Юга воевала против всех правительств, сменявшихся в столице: против Мадеро, против Уэрты, против Каррансы. Против неё применяли ту же тактику, что англичане против буров и испанцы против кубинцев: сжигали деревни, сгоняли население в концентрационные пункты, расстреливали заложников. «Мужчин, женщин и детей расстреливали или вешали как „сапатистских лазутчиков“», — пишет Галеано (с. 174–175). Сапатисты не были регулярной армией: в промежутках между боями они возвращались в деревни сеять кукурузу, а потом снова уходили в горы (Альперович, Слёзкин, с. 253). Мы уже видели эту черту у майя Юкатана. Армия общинников сильна тем, что её нельзя уничтожить, не уничтожив народ, и слаба тем, что не может уйти от своих полей.

Самое интересное в сапатизме — не война, а то, что сапатисты делали, когда их оставляли в покое. В 1915 году, когда армии Каррансы и Вильи воевали друг с другом на севере, Морелос почти год жил сам по себе. Американский историк Джон Уомак назвал это время «коммуной Морелоса». Деревни вернули себе землю, сахарные заводы были национализированы, земли врагов революции объявлены национальной собственностью, открывались школы и сельскохозяйственный банк. Галеано подчёркивает: «народ сам избирал местные власти, свои суды и полицию», а военачальники должны были подчиняться гражданским властям. И главное — реформа шла «в соответствии с обычаями каждого селения... если, например, данная деревня предпочитала общинное землевладение, то там создавалась община; если другая деревня хотела поделить землю на небольшие собственные наделы, то земля дробилась» (Галеано, с. 175–176). Весной 1915 года поля Морелоса были засажены кукурузой и фасолью, а не тростником, и в штате, который при Диасе жил впроголодь, наконец было вдоволь еды, тогда как столица голодала (с. 176).

Это редкий момент в истории Латинской Америки, когда крестьянская революция не только отняла землю у помещиков, но и начала устраивать жизнь сама, снизу, без генералов и без бюрократов. Вокруг Сапаты к этому времени собралась группа городских интеллигентов, среди которых был бывший анархист Антонио Диас Сото-и-Гама, и Галеано отмечает, что «группа анархо-синдикалистов» повлияла на радикализацию аграрной реформы (с. 175). Но решения, как подчёркивают историки, принимали деревни, а не советники. Мы предполагаем, что сапатизм ближе всего из всех движений, о которых шла речь в этой книге, к тому, что Кропоткин называл революцией, которая начинается с захвата земли самими крестьянами и устройства жизни самими общинами. Он ближе и к тому, о чём мечтали сибирские областники и русские народники: не освобождение крестьянина от общины, как у Хуареса, и не переселение его в колхоз, как у большевиков, а свобода самой общины решать, жить ли ей сообща или

поделить землю по дворам. Мариатеги, писавший о «сохранившихся индейских общинах и элементах практического социализма», с тревогой замечал, что перуанские либералы считают «опыт Мексики» «опасным примером» (Мариатеги, с. 91). Опасным он был именно этим.

Слабость сапатизма была обратной стороной его силы. Сапата думал о Морелосе и о деревнях, похожих на Аненекуилько. Он не умел и не хотел строить государство, и у его движения не было ответа на вопрос, что делать со страной за пределами общинного мира: с городами, железными дорогами, нефтью, рабочими. Когда в декабре 1914 года его армия вошла в Мехико, Сапата, по воспоминаниям, отказался сесть в президентское кресло и предложил его сжечь, чтобы покончить с честолюбием. На севере в это время действовал совсем другой вождь, у которого была и железная дорога, и армия в сорок тысяч человек, но не было плана.

6.3. Вилья и Север

Если Сапата был революционером общины, то Франсиско Вилья был революционером степи. Его настоящее имя — Доротео Аранго. Он родился в 1878 году в семье батраков на асьенде в штате Дуранго, а в юности, по его собственному рассказу, застрелил хозяина, пытавшегося изнасиловать его сестру, и ушёл в горы. Почти двадцать лет он был разбойником, угонщиком скота, погонщиком мулов, иногда работал на рудниках. В 1910 году он присоединился к Мадеро, через три года стал командиром самой сильной армии Мексики, а для американских газет и кинокомпаний — самым знаменитым мексиканцем в мире. Джон Рид, проехавший с его армией по Чиуауа, написал о нём книгу «Восставшая Мексика», и советский учебник охотно цитирует Рида (Альперович, Слёзкин, с. 257–258, 260).

Север Мексики отличался от юга. Здесь было меньше индейских общин и больше скотоводческих гасиенд размером с европейские государства. Самый богатый клан Чиуауа, Террасас — Креэль, владел, по разным оценкам, несколькими миллионами гектаров земли, банками и заводами, и его члены по очереди занимали пост губернатора. Но на севере жили и другие люди, чья история напомнит сибирскому читателю его собственную. В XVIII–XIX веках здесь, на границе с землями апачей, испанская корона, а потом республика селили военных колонистов: им давали землю и право самоуправления, а они за это воевали с апачами. Деревни вроде Намикипы в Чиуауа были свободными общинами вооружённых крестьян, не знавших над собой помещика. Когда апачи были разбиты и граница утратила значение, при Диасе их земли начали отрезать в пользу соседних гасиенд и американских компаний. Историки Фридрих Кац и Ана Мария Алонсо показали, что именно такие люди — потомки пограничных колонистов, ранчеро, вакерос, горняки, железнодорожники — составили ядро армий Вильи. Они воевали не за общинную землю индейской деревни, а за утраченную вольность пограничья, где земля принадлежала тем, кто её охранял. Сибирский читатель узнает здесь знакомый тип: казак и старожил пограничной Сибири, вольный землепашец без помещика, которого государство однажды сочло ненужным.

В 1913 году, после убийства Мадеро, Вилья с восемью спутниками переплыл Рио-Гранде из Техаса, а через месяц у него было три тысячи бойцов (Альперович, Слёзкин, с. 255). Через полгода его Северная дивизия взяла Сьюдад-Хуарес и город Чиуауа. Вилья воевал по-новому: его армия двигалась по железной дороге, в эшелонах с госпиталями и кухнями, а когда противник ждал её на линии, она бросала вагоны и совершала ночные кавалерийские рейды (с. 255). Став губернатором Чиуауа, он конфисковал имения клана Террасас и других богачей, а с оставшихся брал контрибуции. На доходы от конфискованных поместий содержалась армия, вдовам и сиротам бойцов платили пенсии, в штате открывали школы, и Вилья приказал снизить цены на мясо (с. 255). Землю, однако, он не делил, обещая раздать её солдатам после победы в виде военных колоний. Советский учебник объясняет это тем, что гнёт землевладельцев на севере «ощущался сравнительно меньше» (с. 255). Мы думаем, что причина в другом: Вилья,

как и его люди, мыслил землю не как общинную собственность, которую надо вернуть деревне, а как награду воину, и государство в его представлении было большой воюющей станицей.

В этом Вилья напоминает не столько Сапату, сколько каудильо, о которых мы писали в главе о Росасе, и сибирских атаманов Гражданской войны. Он был вождём с личной армией, державшейся на преданности ему лично, он сам судил и сам расстреливал — пленных федеральных офицеров, предателей, иногда просто подозрительных. Но в отличие от Росаса и Семёнова Вилья был плотью от плоти тех, кем командовал, и не служил ни помещикам, ни иностранной державе. Мы предполагаем, что Вилья — это атаман народной революции: человек, который сделал для бедняков севера больше, чем кто-либо до него, но который мог дать им только то, что даёт атаман, — добычу, месть и личную справедливость, и не мог дать того, что даёт община, — собственный порядок, переживающий вождя. Сам Вилья это понимал. Когда в 1914 году его хотели сделать президентом, он ответил: «Я недостаточно образован, чтобы быть президентом... Я никогда не займу поста, для которого не гожусь» (Альперович, Слёзкин, с. 257–258).

В октябре 1914 года, после бегства Уэрты, представители всех революционных армий собрались на конвент в городе Агуаскальентес. Конвент объявил себя верховной властью, Карранса, вождь «конституционалистов», его не признал, и революционный лагерь раскололся (с. 257). 6 декабря Вилья и Сапата во главе своих армий вошли в Мехико. Знаменитая фотография запечатлела их в президентском дворце: Вилья, смеясь, сидит в президентском кресле, Сапата рядом, настороженный, с сомбреро на коленях. Два крестьянских вождя впервые встретились, договорились воевать вместе против Каррансы — и разошлись, каждый в свой край. Как пишет советский учебник, «ни Вилья, ни Сапата не сумели объединить крестьян в масштабе всей страны» (с. 258). У них были армии, но не было общей программы, а главное — не было желания управлять Мексикой из столицы.

Это сделал за них генерал Альваро Обрегон, фермер из Соноры, лучший военный ум революции на стороне Каррансы. Весной 1915 года под Селайе он встретил кавалерию Вильи окопами, колючей проволокой и пулемётами — тем, чему за полгода научила Европу мировая война. Вилья бросал своих всадников в лобовые атаки, как в 1913 году, и потерял армию: около шести тысяч его бойцов попали в плен (Альперович, Слёзкин, с. 259). Обрегон потерял в этих боях руку. Северная дивизия перестала существовать, а Вилья ушёл в горы Чиуауа и снова стал партизаном (с. 259). В марте 1916 года его отряд напал на американский пограничный городок Колумбус, и США послали в Мексику карательную экспедицию генерала Першинга. Двенадцать тысяч американских солдат почти год искали Вилью по пустыням Чиуауа и не нашли (с. 260–261). Это была последняя слава Кентавра Севера, как его называли. Но к тому времени революцию решали уже не всадники, а законодатели и генералы.

6.4. Магонисты

У Мексиканской революции была ещё одна сила, о которой советские учебники говорят скупно, а мексиканская официальная история долго предпочитала не говорить вовсе. Альперович и Слёзкин упоминают её одной фразой: в 1905 году «мелкобуржуазная оппозиция, возглавлявшаяся братьями Флорес Магон, образовала на территории США хунту Либеральной партии, которая создала несколько десятков тайных клубов и групп в самой Мексике», и её программа «способствовала росту революционных настроений» (Альперович, Слёзкин, с. 249). На самом деле Рикардо Флорес Магон и его товарищи были не мелкобуржуазной оппозицией, а первыми в Мексике людьми, которые ещё до 1910 года открыто призывали к революции против Диаса, и к 1911 году они были анархистами-коммунистами. Для книги, написанной с либертарной стороны левого лагеря, их история — одна из самых важных и самых горьких.

Рикардо Флорес Магон родился в 1873 году в Оахаке, в семье индейца-масатека и метиски. В 1900 году вместе с братьями Хесусом и Энрике он начал издавать газету «Регенерасьон» («Возрождение»), которая сначала требовала соблюдения либеральной конституции 1857 года, а потом всё прямее выступала против диктатуры. Братьев сажали в тюрьму, газету закрывали, и в 1904 году они эмигрировали в США, где и создали хунту Мексиканской либеральной партии. Её программа 1906 года была самым радикальным документом эпохи: восьмичасовой рабочий день, минимальная заработная плата, запрет детского труда, отмена лавок при гасиендах, возвращение земель, отнятых у индейских общин, раздача необрабатываемых земель тем, кто готов их обрабатывать. Многие её пункты через одиннадцать лет почти дословно вошли в конституцию 1917 года. Магонисты участвовали в подготовке первых больших забастовок Порфириата — на медных рудниках Кананеа в 1906 году, принадлежавших американцу Грину, где было убито больше двадцати человек, и на текстильных фабриках Рио-Бланко в 1907 году, где войска, как пишет советский учебник, «расстреляли из пулемётов до 300 человек — мужчин и женщин» (Альперович, Слёзкин, с. 249).

В эмиграции, в Сент-Луисе и Лос-Анджелесе, Флорес Магон читал Кропоткина, Бакунина, Малатесту, Реклю и переписывался с американскими анархистами. «Хлеб и воля» Кропоткина стала для него, по собственным словам, главной книгой. Когда в 1910 году началось восстание Мадеро, магонисты отказались его поддержать: смена президента, писали они, ничего не даст рабочим и крестьянам, нужно не избирательное право, а земля и свобода. 23 сентября 1911 года хунта опубликовала манифест, в котором уже прямо говорилось об отмене частной собственности, государства и церкви. Его лозунгом стали слова «Земля и свобода» — «Tierra y Libertad». Русскому читателю эти слова знакомы: так называлась организация русских народников 1870-х годов, «Земля и воля». Совпадение не случайно — у обоих лозунгов один корень в анархистской и народнической мысли XIX века, а сапатисты позднее сделали эти слова своими.

Весной 1911 года отряды магонистов — мексиканские рабочие и крестьяне, индейцы кукапа, американские члены анархо-синдикалистского профсоюза «Индустриальные рабочие мира» и добровольцы из разных стран — заняли города Мехикали и Тихуана в Нижней Калифорнии. Это была первая попытка устроить в Мексике жизнь без государства. Она продержалась несколько месяцев. Правительство Мадеро и американская пресса объявили её «флибустьерской» авантюрой иностранцев, собиравшихся отторгнуть полуостров, и в июне 1911 года федеральные войска разгромили отряды. Это обвинение в «сепаратизме» и «работе на иностранцев» мы слышали и в сибирской истории — его предъявляли областникам в 1865 году.

Флорес Магон больше не вернулся в Мексику. Американские власти несколько раз судили его за нарушение законов о нейтралитете, а в 1918 году, после манифеста к анархистам всего мира, приговорили к двадцати годам заключения за «антиамериканскую пропаганду» в военное время. 21 ноября 1922 года он умер в тюрьме Ливенуэрт, по официальной версии от сердечного приступа; его товарищи считали, что его убили. Мексиканский конгресс предложил выплачивать ему пенсию, и он отказался: «Я не верю в государство». Его прах перевезли в Мексику только в 1945 году и похоронили в Ротонде выдающихся людей — революция, которую он не признавал, сделала его одним из своих святых.

Самый горький эпизод анархистской истории Мексиканской революции связан не с магонистами, а с их бывшими товарищами в столице. В 1912 году в Мехико возник «Дом рабочих мира» — объединение профсоюзов анархо-синдикалистского направления (Альперович, Слёзкин, с. 253). В феврале 1915 года его руководство, увидев в Каррансе защитника рабочих и противника церкви, заключило с ним пакт и сформировало из рабочих «красные батальоны» для борьбы, как говорилось, «против реакции». Советский учебник точно описывает, против кого на самом деле воевали эти батальоны: каррансисты «боролись не столько с реакционными элементами, сколько с крестьянством», и пакт «фактически облегчал возможность

использовать часть рабочих против революционных крестьян» (с. 258). Городские анархисты воевали против Сапаты, чья революция была ближе к их идеалам, чем всё, что предлагал Карранса. Флорес Магон из тюрьмы назвал этот пакт предательством. В январе 1916 года, когда крестьянские армии были разбиты, Карранса распустил «красные батальоны», а когда в августе того же года рабочие Мехико объявили всеобщую забастовку, против них бросили войска, руководителей арестовали, и Карранса восстановил закон 1862 года, по которому за участие в забастовке полагалась смертная казнь (с. 259).

Мы предполагаем, что здесь, в Мексике 1915–1916 годов, впервые в истории Латинской Америки проявился раскол, который потом будет повторяться снова и снова: город против деревни, рабочий против крестьянина, и центральная власть, использующая одних против других, чтобы потом подавить обоих. Русский и сибирский читатель знает этот сюжет по собственной революции, случившейся через два года. Анархисты и левые эсеры вместе с большевиками свергли Временное правительство, а потом были разгромлены теми, кому помогли. В Сибири в 1919 году анархист Григорий Рогов поднял партизанскую армию на Алтае и в Кузнецком крае против Колчака, а в 1920 году, после победы, был объявлен большевиками бандитом и погиб. Флорес Магон в Ливенуэрте и Рогов в алтайской тайге — две смерти одного урока. Революцию начинают снизу, а заканчивают сверху, и самые последовательные сторонники революции снизу первыми оказываются лишними, когда сверху её начинают заканчивать. В Мексике её заканчивали законодатели в провинциальном городе Керетаро.

6.5. Конституция 1917 года: статьи 27 и 123

1 декабря 1916 года в городе Керетаро, где за полвека до того расстреляли императора Максимилиана, открылось Учредительное собрание. Карранса созвал его, чтобы узаконить свою победу, и предложил проект, лишь немного подправивший либеральную конституцию 1857 года. Как пишет советский учебник, среди депутатов «преобладали представители имущих слоёв общества», а проект Каррансы «в очень малой степени» предусматривал социальные преобразования (Альперович, Слёзкин, с. 261). Сапатистов и вильистов в Керетаро не было: туда пускали только сторонников победившей фракции. Но произошло неожиданное. Группа молодых депутатов — офицеров-революционеров, учителей, адвокатов из провинции, — которую называли «якобинцами» и вождём которой был генерал Франсиско Мухика, взбунтовалась против проекта Каррансы и переписала его. Победённые крестьянские армии не попали в зал заседаний, но их требования туда вошли — потому что без них нельзя было удержать страну.

Конституция, принятая 31 января и опубликованная 5 февраля 1917 года, начиналась как обычная либеральная конституция со свободой печати и правом на объединение, но в нескольких статьях выходила далеко за пределы либерализма (с. 261). Статья 3 вводила обязательное бесплатное светское образование. Статья 130 лишала церковь права владеть недвижимостью и вести политическую деятельность, а священников — избирательного права (с. 261). Но главными стали две статьи.

Статья 27 переворачивала либеральное представление о собственности. Она провозглашала, что «первоначальная собственность на земли и воды в пределах государственной территории принадлежит государству, которое имело и имеет право передать их частным лицам», и что государство «в любое время имеет право наложить на частную собственность ограничения, требуемые общественными интересами» (Альперович, Слёзкин, с. 261). Недра объявлялись достоянием нации, иностранцы могли владеть землёй и концессиями, только если отказывались от защиты своих правительств, а в стокилометровой пограничной полосе и пятидесятикилометровой прибрежной полосе им вовсе запрещалось владеть землёй. Деревням возвращались незаконно отнятые земли, а безземельные деревни должны были получить эхидо за счёт крупных поместий, причём разделу подлежал только «излишек земли сверх максималь-

ной нормы» (с. 261). Мы уже писали о том, что эта статья 27 зеркально перевернула статью 27 конституции 1857 года, запрещавшую общинам владеть землёй.

Статья 123 стала первым в мире конституционным кодексом прав рабочих — на год раньше советской конституции и на два года раньше Веймарской. Восьмичасовой рабочий день, шесть часов для подростков, запрет ночной и опасной работы для женщин и детей, равная плата за равный труд, двойная оплата сверхурочных, оплачиваемый отпуск по беременности, право на профсоюзы и стачки (с. 261–262). Но, как замечает советский учебник, право стачки признавалось только за «законными» стачками, которые должны «достичь равновесия между различными факторами производства, приводя в гармонию права труда с правами капитала», а рабочим государственных военных предприятий бастовать вообще запрещалось (с. 262). Это не опечатка: конституция предполагала, что государство будет арбитром между трудом и капиталом, и именно это определило судьбу мексиканского рабочего движения на весь XX век.

Советские историки оценили конституцию двойственно: она «исходила из принципа сохранения и утверждения частной собственности», предусматривала лишь «частичное ограничение крупного землевладения с обязательной компенсацией», не отменяла привилегий иностранного капитала, — и всё же была «весьма передовой и в тогдашних условиях самой демократической из существовавших конституций» (Альперович, Слёзкин, с. 262). Мы хотели бы обратить внимание на другое. Статья 27 вернула общине землю, но вернула её не так, как требовал План Айялы. Сапата требовал, чтобы деревни сами брали землю по своим колониальным грамотам, а потом защищали своё право в суде. Конституция сделала первоначальным собственником всех земель государство — точно так же, как в колониальные времена им был король, — и государство теперь «передавало» землю деревням. Эхидо, которое получали крестьяне, нельзя было продать или заложить, но и полной собственностью общины оно не было: его давало, ограничивало и контролировало государство через своих агрономов, банки и чиновников. В 1930-е годы, при президенте Ласаро Карденасе, крестьяне получили миллионы гектаров эхидальной земли, и Галеано справедливо видит в этом возрождение сапатистских традиций (Галеано, с. 176). Но вместе с землёй эхидатарии получили и зависимость от правящей партии, которая десятилетиями решала, кому дать кредит, а кому нет, и превратила эхидо в одну из опор своей власти.

Мы предполагаем, что здесь лежит ключ ко всей последующей истории мексиканской революции, и это различие — между обобществлением и огосударствлением — мы уже встречали у кубинских анархистов, когда говорили о Парагвае. План Айялы был программой обобществления: земля возвращается общине, и община сама решает, как ею пользоваться. Статья 27 стала программой огосударствления: земля принадлежит нации, то есть государству, и государство решает, сколько её дать общине. Сибирский читатель узнает в статье 27 и ещё одно знакомое разделение. Земля, её поверхность, могла достаться общине. Недра — нефть, серебро, медь — оставались за нацией, то есть за государством, всегда и при любых условиях. Во втором томе мы писали, что государство делит землю на поверхность, которую можно оставить коренным народам как «родовые угодья», и недра, которые всегда принадлежат государству и компаниям. Мексиканская конституция 1917 года первой записала это разделение в основной закон. Когда в 1938 году Карденас национализировал нефть иностранных компаний, это было великой победой мексиканского суверенитета. Но для общин, на чьих землях стояли вышки, мало что изменилось: место «Стандард ойл» заняла государственная «Пемекс».

Русская революция, случившаяся через девять месяцев после принятия мексиканской конституции, начала с похожего. Декрет о земле 1917 года, составленный по крестьянским наказам, отменял частную собственность на землю и передавал её «в пользование всех трудящихся на ней», но через двенадцать лет общинное землепользование, которое этот декрет признавал, было уничтожено коллективизацией. В Мексике процесс шёл медленнее и мягче, и эхидо прожило семьдесят пять лет, прежде чем его начали распродавать. Но и там, и здесь

крестьянская революция получила землю из рук государства, и государство не забыло, что это его земля.

6.6. Убийство Сапаты и победа генералов

10 апреля 1919 года Эмилиано Сапата приехал на асьенду Чинамека в Морелосе на встречу с полковником федеральной армии Хесусом Гуахардо. Гуахардо уже несколько недель играл роль перебежчика: он писал Сапате, что готов перейти на его сторону со своим полком, и в доказательство искренности расстрелял полсотни федеральных солдат, бывших когда-то сапатистами и перешедших к правительству. Сапата поверил. Когда он въехал во двор асьенды, почётный караул Гуахардо вскинул винтовки, горнист трижды протрубил, и в упор, как пишет Галеано, «тысяча человек разрядили в него из засады винтовки» (Галеано, с. 176). Гуахардо получил от генерала Пабло Гонсалеса, командовавшего войсками Каррансы на юге, производство в генералы и пятьдесят тысяч песо. Тело Сапаты выставили на площади в Куаутле, чтобы крестьяне убедились, что он мёртв. Крестьяне не поверили и десятилетиями рассказывали, что Сапата жив, что убили его двойника, а сам он ускакал на своём гнедом коне в горы. Галеано записал эту легенду: «одиноким гнедой конь до сих пор без усталости скачет к югу по горной цепи» (с. 176).

Сапату убили не враги революции, а победители. В 1919 году Мексикой правил Венустиано Карранса — богатый скотовод из Коауилы, сенатор при Диасе, примкнувший к Мадеро и после его убийства возглавивший «конституционалистов» (Альперович, Слёзкин, с. 255). Советский учебник не питает к нему иллюзий. Пока шла борьба за власть, Карранса «не скупился на щедрые обещания», и его закон 6 января 1915 года о возвращении деревням отнятых земель действительно перетянул на его сторону часть крестьян (с. 258). Но, «стабилизировав своё положение», каррансисты «предали забвению прежние обязательства», Карранса «решительно защищал неприкосновенность частной собственности», и «земля оставалась в руках крупных собственников» (с. 259). Его генералы, вошедшие в Морелос в 1916 году, грабили урожай, скот и инструменты, «заявляя о своей приверженности к „возрождению и прогрессу“» (Галеано, с. 176), а многие из них сами стали владельцами конфискованных гасиенд. Новые генералы революции оказались новыми помещиками.

Карранса ненадолго пережил Сапату. В 1920 году он попытался передать президентство своему ставленнику, и генерал Обрегон, победитель Вильи, поднял против него восстание в Соноре. Карранса бежал из столицы с поездом, нагруженным казной, и в мае 1920 года был убит в горной деревушке Тлашкалантонго. Обрегон стал президентом и, в отличие от Каррансы, понял, что с крестьянами выгоднее договориться. Сапатисты, оставшиеся без вождя, заключили с ним мир, Сото-и-Гама создал Национальную аграрную партию, и в Морелосе началась раздача эхидо. Вилья тоже сложил оружие: правительство дало ему асьенду Канутильо в Дуранго, где он поселился с бывшими бойцами. В июле 1923 года его автомобиль расстреляли из засады в городе Парраль. Убийцы почти не скрывались, а следы вели к окружению Обрегона.

Так кончилась Мексиканская революция. Из её вождей ни один не умер своей смертью: Мадеро, Сапату, Каррансу, Вилью убили, Обрегона в 1928 году, после того как он добился переизбрания, застрелил католический фанатик. Власть досталась генералам из Соноры — Обрегону и его преемнику Плутарко Элиасу Кальесу, — которые в 1929 году создали Национальную революционную партию. Под разными названиями, последним из которых стало Институционно-революционная партия, она правила Мексикой семьдесят один год, до 2000 года. Само её название содержит противоречие, точно описывающее судьбу революции: революция, ставшая институтом. Партия раздавала землю и подавляла независимые профсоюзы, национализировала нефть и расстреливала студентов, строила школы и фальсифицировала

выборы. Галеано подвёл итог жёстко: «мексиканский национализм не перерос в социализм», и миллион погибших принёс свою кровь «на алтарь... капиталистического развития Мексики в условиях, созданных зависимостью от империализма» (Галеано, с. 177). Советский учебник сказал то же самое академичнее: революция «не выполнила стоявших перед нею основных задач» (Альперович, Слёзкин, с. 262).

Мы бы сказали иначе. Мексиканская революция выполнила одну задачу, которой не выполнила ни одна революция до неё: она вернула крестьянам часть их земли, и Мексика середины XX века была уже не страной восьмисот латифундистов, а страной миллионов эхидатариев. Это была настоящая победа Сапаты, хотя сам он до неё не дожил. Но эту победу у крестьян отняли не помещики, а государство, которое дало им землю и потому считало себя вправе ими управлять. Революцию начали деревни Морелоса, ранчерио Чиуауа, горняки Кананеа и анархисты «Регенерасьон», а закончили генералы Соноры, сделавшие из неё партию и государство. Это та же закономерность, которую мы видели в войнах за независимость, в регионализме каудильо и в боливийской Федеральной войне, — но впервые она проявилась в революции, которая сама называла себя социальной.

Сибирский читатель знает этот сюжет по революции, которая шла в те же годы на его земле. В 1918 году большевики разогнали Сибирскую областную думу. В 1919 году сибирские крестьяне, недовольные мобилизациями и реквизициями колчаковского правительства, поднялись в партизанские армии — на Алтае, в Енисейской губернии, в Забайкалье — и сыграли решающую роль в разгроме Колчака. Их вожди, крестьянские командиры вроде Ефима Мамонтова на Алтае, были сибирскими Сапатами и Вильями: они воевали за землю, за крестьянское самоуправление и против любой власти, которая приходит из города с реквизициями. В 1920 году власть в Сибири перешла к большевикам, и через несколько месяцев продразвёрстка вызвала Западно-Сибирское восстание 1921 года — крупнейшее крестьянское восстание Советской России, которое подавили войска, недавно воевавшие вместе с этими крестьянами против Колчака. Партизан, не принявших новой власти, объявили бандитами, а многих командиров, оставшихся верными, расстреляли в 1930-е годы. Сибирская революция, как и мексиканская, была выиграна крестьянами и проиграна ими, потому что выиграть войну можно снизу, а удержать победу снизу никому из них не удалось. Различие в том, что мексиканское государство в конце концов отдало часть земли крестьянам, а советское через десять лет забрало у них и землю, и общину.

Из мексиканских событий выросла и другая история. Пока в Мексике воевали крестьянские армии, в портовых городах Южной Америки, куда каждый год прибывали сотни тысяч европейских иммигрантов, рабочие создавали собственные организации, и многие из них верили не в партии и не в государство, а в профсоюз и всеобщую стачку. Мексиканский «Дом рабочих мира» был лишь одним из ростков этого движения, и чтобы понять его до конца, нужно перенестись в Буэнос-Айрес, Монтевидео, Сан-Паулу и Гавану.

Глава 7. Рабочие, анархисты и первые левые (1890–1930)

7.1. Иммигранты и рождение рабочего движения

В 1852 году аргентинский юрист Хуан Баутиста Альберди сформулировал программу, которая на полвека определила политику его страны: «Управлять — значит заселять». Пампа, отнятая у индейцев, должна была наполниться европейцами, и Альберди надеялся, что это будут трудолюбивые англичане, немцы и швейцарцы, которые принесут с собой порядок, протестантскую этику и уважение к собственности. Европа ответила на приглашение, но не так, как ожидалось. С 1870-х годов до Первой мировой войны в Аргентину переселились миллионы людей, но в основном это были крестьяне и ремесленники из беднейших провинций Италии и Испании — Калабрии, Сицилии, Галисии, Астурии, Каталонии. К 1914 году почти треть населения Аргентины родилась за границей, а в Буэнос-Айресе иностранцы составляли около половины взрослых мужчин. Миллионы итальянцев, испанцев и португальцев ехали и в Бразилию, на кофейные плантации Сан-Паулу, в Уругвай, на Кубу. Вместе с рабочими руками они привезли в Латинскую Америку то, о чём Альберди не думал: опыт европейского рабочего движения и идеи, которые в Италии и Испании конца XIX века были распространены среди бедноты больше всех других, — идеи анархизма.

Жизнь, которую новая родина предложила иммигрантам, мало походила на обещания вербовщиков. Землю в пампе, как мы видели, уже раздали держателям облигаций и друзьям правительства, и большинство переселенцев стали не фермерами, а арендаторами, батраками-«ласточками», приезжавшими на сезон уборки урожая, рабочими мясохладобоев, портов и железных дорог. Советский учебник описывает их положение так: рабочий день «не менее 10, а иногда и 15 часов», никакого рабочего законодательства, детский труд, пониженная оплата женщин, никаких пособий за увечья, а зарплата «нередко выдавалась бонами в хозяйскую лавку», так что «авансы и задолженность делали рабочего долговым рабом» (Альперович, Слёзкин, с. 127). В городах иммигранты жили в «конвентильос» — бывших особняках и наспех построенных доходных домах, где семья занимала одну комнату, а на десятки семей приходились одна кухня и одна уборная во дворе. Крупнейшие предприятия — мясохладобойни, банки, железные дороги — принадлежали иностранцам, в Буэнос-Айресе около 92 процентов всех промышленных предприятий (с. 127). Новые рабочие Латинской Америки оказались чужими дважды: для местной олигархии они были иностранцами, а хозяевами их фабрик часто были иностранцы другого рода — английские и американские компании.

Первые рабочие организации возникли почти одновременно с массовой иммиграцией. Уже в 1872–1874 годах в Буэнос-Айресе действовали французская, итальянская и испанская секции Международного товарищества рабочих — Первого Интернационала. В 1878 году бастовали типографские рабочие, в 1882 году немецкие социалисты основали клуб «Форвертс», а 1 мая 1890 года в Буэнос-Айресе впервые прошла первомайская демонстрация (Альперович, Слёзкин, с. 127). С 1885 по 1889 год в Буэнос-Айресе жил итальянский анархист Эррико Малатеста, бежавший от преследований на родине, и при его участии был создан профсоюз пекарей, один из первых боевых профсоюзов страны. Аргентинцы до сих пор едят к завтраку сладкие булочки, названия которых, по устойчивой традиции, придумали тогда пекари-анархисты, чтобы посмеяться над церковью, армией и полицией: «бомбочки», «пушечки», «монашья яички», «вигилантес» — «полицейские». Советский учебник признаёт, что испанские и итальянские иммигранты были «в значительной мере пропитаны идеями анархизма и анархо-синдикализма», но видит в этом главным образом причину раскола и «ослабления единства пролетариев» (с. 128). Мы смотрим на это иначе. Почему анархизм, а не парла-

ментский социализм, на тридцать лет стал главным течением рабочего движения Аргентины, Уругвая, Кубы, юга Бразилии?

Мы предполагаем, что ответ лежит в самом положении иммигранта. Большинство переселенцев не принимали гражданства и не могли голосовать, а избирательная система до 1912 года всё равно оставалась в руках олигархии, которая фальсифицировала выборы. Социалисты, ориентированные на парламентскую борьбу, предлагали рабочим ждать, пока они станут гражданами и получают представительство. Анархисты предлагали действовать сразу: создавать профсоюзы, общества взаимопомощи, кооперативы, библиотеки и школы, объявлять стачки и бойкоты, добиваться своего прямым действием, не прося ничего у государства, которое и так их не замечало. Для человека, у которого не было ни голоса, ни земли, ни отечества в этой стране, это было не утопией, а практической программой. В 1907 году десятки тысяч жильцов конвентильос Буэнос-Айреса отказались платить за жильё, требуя снизить квартплату на треть. Забастовку квартиросъёмщиков начали женщины и дети, они выгоняли судебных приставов мётлами, и движение поддерживали анархистские организации. Полиция выселяла семьи на улицу, но в части домов квартплату действительно снизили. Государство ответило законом. Уже в 1902 году Аргентина приняла «Закон о проживании», позволявший без суда высылать из страны иностранцев, «угрожающих общественному порядку», а в 1910 году — «Закон о социальной защите», запрещающий анархистские организации и печать. Иммигрант, приглашённый «заселять» страну, становился нежелательным, как только начинал защищать себя.

На Кубе рабочее движение родилось из другой среды, но пришло к тем же идеям. Его колыбелью стали табачные мастерские Гаваны, где тысячи торседорес — крутильщиков сигар — работали в больших залах. Историк кубинского анархизма Франк Фернандес рассказывает, что ещё в 1865 году, когда на острове сохранялось рабство, рабочий-астуриец Сатурнино Мартинес основал первую рабочую газету и ввёл в табачных мастерских «чтение»: рабочие сами нанимали чтеца, который, сидя на возвышении, читал им вслух газеты, романы и книги, пока они крутили сигары (Фернандес). Фернандес считает, что первые общества взаимопомощи, светские школы и рабочие ассоциации Кубы были созданы под влиянием идей Прудона. В 1880-е годы на смену прудонизму пришёл анархизм в его испанской, бакунинской версии, который приносили на остров эмигранты и газеты из Барселоны. Тогда же выдвинулся Энрике Роиг Сан-Мартин, редактор газеты «Эль Продуктор», которого Фернандес называет самой значительной фигурой кубинского анархизма. Под его влиянием в 1887 году собрался первый рабочий конгресс Кубы, провозгласивший отказ от «всякого следа власти» в рабочих организациях и их объединение через «федеративный пакт». Анархисты организовали стачки табачников в Гаване и связали их с рабочими-кубинцами в Тампе и Ки-Уэсте во Флориде, куда переехала часть табачной промышленности. Когда Роиг умер в 1889 году, вскоре после выхода из колоннальной тюрьмы, его слова, как пишет Фернандес, ещё долго читали вслух «чтецы табачных мастерских» от Гаваны до Нового Орлеана. А в 1892 году Рабочий конгресс в Гаване, на котором собрались 74 делегата, объявил себя «связанным со всеми угнетёнными землями» и записал, что рабочие Кубы не будут препятствием для освобождения своего народа от Испании.

Чтец в табачной мастерской — может быть, лучший символ того, чем было раннее рабочее движение Латинской Америки. Это было движение самообразования, взаимопомощи и солидарности, которое рабочие создавали сами, без партий и без государства, и в котором книга значила не меньше, чем стачка. Анархисты открывали рабочие библиотеки, вечерние школы, театры, издавали десятки газет на испанском и итальянском языках. В Буэнос-Айресе в начале XX века выходила ежедневная анархистская газета «Ла Протеста» — одна из немногих ежедневных анархистских газет в мире. Многие из этих газет печатали Кропоткина. И здесь сибирский читатель может заметить, как замыкается круг. Кропоткин стал анархистом в Сибири. Молодым офицером он пять лет служил в Иркутске и Чите, ездил по Забайкалью и Амуру, составлял проекты реформ ссылки и местного управления и, как он сам потом расска-

зывает в «Записках революционера», понял там бесплодность административной работы сверху и увидел, на что способна самоорганизация простых людей, — например, переселенцев-духоборов, устраивавших свою жизнь братски, без начальства. Идея, вынесенная из сибирской тайги, через несколько десятилетий вернулась к людям, жившим в том же положении, что и сибирские переселенцы, — в положении людей, приехавших на чужую землю работать и не имевших там голоса, — и стала их идеей.

Сибирь и сама была краем переселенцев и ссыльных, и именно ссыльные, как мы писали в первом томе, во многом создали сибирскую интеллигенцию. Различие в том, что ссыльные в Сибирь были образованными людьми, приехавшими не по своей воле, а иммигранты в Аргентину — бедняками, приехавшими по своей воле, но без образования. Первые принесли в Сибирь народничество и областничество, вторые — профсоюзы и анархо-синдикализм. И тем и другим государство отвечало одинаково: ссылкой и высылкой. Аргентинский «Закон о проживании» делал то же, что российская административная ссылка, только в обратном направлении: не привозил неблагонадёжных, а увозил их.

Из обществ взаимопомощи, профсоюзов пекарей и печатников, из анархистских кружков и газет на рубеже веков выросла организация, ставшая самой сильной анархистской федерацией рабочих за пределами Испании. В 1901 году в Буэнос-Айресе собрался её первый конгресс.

7.2. ФОРА и анархо-синдикализм

В августе 1905 года в Буэнос-Айресе собрался пятый конгресс Региональной федерации рабочих Аргентины — ФОРА. Делегаты сотен профсоюзов — пекарей, портовых грузчиков, извозчиков, каменщиков, печатников, моряков — приняли решение, которого не принимала ни одна массовая рабочая организация в мире ни до, ни после. Конгресс рекомендовал всем своим членам распространять и изучать «экономические и философские принципы анархического коммунизма», чтобы рабочие, борясь за улучшение своей жизни сегодня, ясно видели и конечную цель — общество без собственности, без государства и без хозяев. Профсоюзная федерация, объединявшая значительную часть рабочих крупнейшего города Латинской Америки, официально объявила своей целью анархию. В истории рабочего движения её с тех пор так и называют — «ФОРА пятого конгресса».

Начало ей положил конгресс, собравшийся в мае 1901 года, где представители профсоюзов создали «Рабочую федерацию Аргентины». Как пишет советский учебник, она находилась «под большим влиянием анархистов», и через два года сторонники Социалистической партии вышли из неё и основали собственный Всеобщий союз трудящихся (Альперович, Слёзкин, с. 131). В 1904 году анархистская федерация приняла название Региональной федерации рабочих Аргентины. Слово «региональная» вместо «национальная» было выбрано сознательно, как и на Кубе за десять лет до этого: анархисты не признавали нации и государственной границы, и Аргентина была для них лишь одним из регионов мира, где живут рабочие. Профсоюзы ФОРА строились снизу: рабочие одной профессии в одном городе объединялись в «общество сопротивления», общества — в местную федерацию, местные федерации — в региональную. Платных функционеров не было, большие забастовочные фонды не собирались — их заменяла солидарность других профессий, готовых поддержать бастующих собственной стачкой. ФОРА отвергала государственный арбитраж и договоры, заключённые при посредничестве властей, и признавала только прямое действие: стачку, бойкот, саботаж и, как высшее оружие, всеобщую стачку.

Это оружие она применяла часто. Всеобщие стачки 1902, 1904, 1905, 1907, 1909 годов парализовали Буэнос-Айрес и Росарио. Советский учебник, неохотно признающий успехи анархистов, отмечает, что стачки «становились обычным средством борьбы», «чаще прино-

сили победу», а в 1905 году «значительное число рабочих объединений впервые за десять лет борьбы добилось повышения заработной платы в 1,5–2 раза» и обязательного воскресного отдыха (Альперович, Слёзкин, с. 131). 1 мая 1909 года полиция под командованием начальника Рамона Фалькона открыла огонь по анархистской демонстрации на площади Лорея, убив несколько человек. ФОРА ответила недельной всеобщей стачкой, которую называли «Красной неделей». А в ноябре того же года восемнадцатилетний анархист Симон Радовицкий бросил бомбу в экипаж Фалькона и убил его. Радовицкий родился в еврейской семье на Украине, в Российской империи, подростком участвовал в революции 1905 года в Екатеринославе и бежал в Аргентину от преследований. Его, несовершеннолетнего, не смогли казнить и отправили на двадцать один год в тюрьму Ушуаи на Огненной Земле — аргентинскую каторгу на краю света, которую сами аргентинцы называли «Сибирью». В 1910 году, накануне пышного празднования столетия независимости, правительство объявило осадное положение, сожгло редакцию «Ла Протесты», выслало сотни иностранных рабочих и приняло «Закон о социальной защите», запрещавший анархистские организации.

Внутри самого рабочего движения шёл свой спор, важный и для нашей книги. Рядом с анархо-коммунистами ФОРА пятого конгресса существовали революционные синдикалисты, считавшие, что профсоюз должен быть идеологически нейтральным и объединять всех рабочих, независимо от их взглядов, а сам по себе станет основой будущего общества. В 1915 году на девятом конгрессе синдикалисты взяли верх и отменили рекомендацию анархического коммунизма. Анархисты вышли и сохранили свою «ФОРА пятого». Спор этот кажется схоластическим, но за ним стоял вопрос, который будет решаться во всех рабочих движениях XX века: может ли организация рабочих, ставшая большой и сильной, сохранить цель освобождения, или она неизбежно превратится в инструмент торга о заработной плате, в котором победит тот, кто лучше договорится с государством? Аргентинские анархисты отвечали, что без ясной цели профсоюз вырождается в бюрократию, синдикалисты — что без единства всех рабочих цель останется сектантской мечтой. История, как мы увидим, подтвердила опасения обеих сторон. Кропоткин в эти годы в целом сочувствовал синдикализму и видел в рабочих синдикатах зародыш самоуправляемого производства будущего, но предупреждал, что без анархистского содержания профсоюзное движение легко станет реформистским.

Анархо-синдикализм не был только аргентинским явлением. В Уругвае в 1905 году возникла родственная ФОРА федерация ФОРУ. В Бразилии, как признаёт советский учебник, поскольку основная масса рабочих-иммигрантов прибывала из Португалии, Италии и Испании, «идеи анархо-синдикализма получили преобладающее влияние и в бразильском рабочем движении» (Альперович, Слёзкин, с. 110), и в 1906–1908 годах была создана Рабочая конфедерация Бразилии. На Кубе анархисты руководили табачниками. В Перу анархо-синдикалисты организовали пекарей и текстильщиков Лимы, и в январе 1919 года всеобщая стачка добилась введения восьмичасового рабочего дня. Самым интересным для нас был перуанский опыт, о котором коротко пишет Мариатеги. В 1923 году, после нескольких конгрессов индейских общин, была создана Региональная рабочая индейская федерация, «которая ставила своей целью организовать индейцев, руководствуясь при этом принципами и методами анархо-синдикализма». Мариатеги, марксист, видел в этих методах причину неудачи: «далее простой попытки дело не пошло». Но тут же признавал, что сама федерация «свидетельствовала о ясно выраженных революционных тенденциях индейского авангарда», а кончилась она не только из-за методов: «два лидера индейцев были сосланы, а другие запуганы» (Мариатеги, с. 387–388). Попытка соединить рабочий синдикат с индейской общиной — то, о чём потом будет думать сам Мариатеги, — впервые была сделана анархистами.

В Уругвае история пошла по другому пути, и он очень поучителен. Президент Хосе Батлье-и-Ордоньес в 1903–1907 и 1911–1915 годах провёл реформы, которые сделали Уругвай самым социально развитым государством континента: восьмичасовой рабочий день, введён-

ный законом раньше, чем в Соединённых Штатах, пенсии, бесплатное образование, государственные предприятия, разрешение развода (Галеано, с. 295–296). Многие требования анархистов исполнило государство — и рабочее движение лишилось части своего смысла. Галеано замечает, что Батлье при этом «не затронул власти землевладельцев» и не национализировал ни банков, ни внешней торговли (с. 296). Мы предполагаем, что это одна из главных развилочек всей истории латиноамериканских левых, которую мы ещё не раз увидим — в перонизме, в мексиканской Институционно-революционной партии, в бразильском варгасизме. Государство, которое берёт на себя исполнение рабочих требований, отнимает у рабочих их самостоятельность. Анархисты требовали, чтобы рабочие добывали свои права сами и сами ими распоряжались. Социальное государство давало те же права сверху — и вместе с ними контроль.

Мы предполагаем, что самоорганизация ФОРА найдёт отклик у сибирского читателя, хотя в Сибири того времени не было ни больших городов, ни массового пролетариата. Но в те же самые годы, когда в Буэнос-Айресе росли общества сопротивления, сибирские крестьяне строили свою сеть самоорганизации — кооперацию. Маслодельные артели Западной Сибири объединились в Союз сибирских маслодельных артелей, потребительские общества — в союзы «Закупсбыт» и «Центросибирь», и к 1917 году сибирская кооперация была одной из крупнейших в мире. Она строилась так же, как ФОРА, — снизу, от артели к районному союзу и к общесибирскому, — и её деятели, связанные с эсерами и областниками, в 1917–1918 годах стали опорой сибирского самоуправления. Сибирская кооперация, как и аргентинская федерация рабочих, доказывала, что люди, которых государство привыкло считать тёмной массой, способны сами организовать огромное хозяйство и огромное движение. И, как и ФОРА, она не пережила встречи с государством, решившим, что эта работа принадлежит ему: в 1920-е годы советская власть сначала подчинила кооперацию, а затем превратила её в часть государственного аппарата.

Самоорганизация, которой гордились анархисты, имела и обратную сторону: у неё не было армии, и государство, решившее с ней покончить, не встречало ничего, кроме мужества безоружных людей. В первые десятилетия XX века по всей Латинской Америке прошла череда расправ над рабочими, и три из них — в Чили, в Буэнос-Айресе и в Патагонии — стали частью народной памяти.

7.3. Икике (1907), «Трагическая неделя» (1919), «Патагония бунтующая» (1921)

В 1970 году чилийский композитор Луис Адвис и группа «Килапаюн» записали «Народную кантату Санта-Мария-де-Икике». В ней нет ни героев, ни победы, только рассказ о том, как в декабре 1907 года рабочие селитряной пампы пришли в портовый город просить о справедливости и были расстреляны в школьном дворе. Кантата стала одной из самых известных песен чилийской «новой песни», и её пели на митингах Народного единства, а после переворота 1973 года её авторы оказались в изгнании. Латиноамериканское рабочее движение первых десятилетий XX века помнит свою историю прежде всего по расстрелам. Мы расскажем о трёх из них. Они случились в разных странах и при разных правительствах — олигархическом и демократическом, — но устроены были одинаково, и в каждом из них анархисты играли главную роль и среди жертв, и среди тех, кто потом не дал забыть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.